

И

ДАВИД МАРКИШ

ЛЕВ



**ДАВИД МАРКИШ**

**П Ё С**

**Роман**

**Тель-Авив  
1984**

עיריית חיפה  
מערכת תרבות מסאי  
מרכז תרבות לעמים  
בית ארדסטריין - ספריה  
מס. מלאי.....



© 1984 DAVID MARKISH

Художник-оформитель Рома Анненбург

OCR Давид Титиевский, октябрь 2019 г., Хайфа

עיריית חיפה/מנהל החינוך  
האגף לתרבות השכלה ואמנות  
תמונת הספריות הספריה הצבורי  
ענין ש. כפונר מס' 70861/1

70861/1

1467/1

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                    | стр. |
|----------------------------------------------------|------|
| 1. Конура . . . . .                                | 7    |
| 2. Зимний вальс. Вена . . . . .                    | 37   |
| 3. Мир счастья Захара Артемьева . . . . .          | 53   |
| 4. Этот отвратительный, вечный город Рим . . . . . | 79   |
| 5. Париж. Шарманка с площади Тертр . . . . .       | 109  |
| 6. В зеркале во всю стену. Нью-Йорк . . . . .      | 149  |
| 7. Захар. Зеленая дымка . . . . .                  | 189  |
| 8. Хрустальная корона. Лод . . . . .               | 207  |
| 9. Иерусалим. Переулок Иисуса . . . . .            | 241  |
| 0. Вена. Любовь . . . . .                          | 261  |
| 1. Толкунцы и псы . . . . .                        | 281  |



## 1. КОНУРА

Трудно, а то и вовсе невозможно установить, кем, когда и при каких обстоятельствах московское жилище Вадима Соловьева было названо — Конура. В одном, однако ж, не приходится сомневаться: определяющее это слово соскочило с языка одного из бесчисленных приятелей Вадима, а никак не недруга, потому что недругов у него не было вовсе. Кому-то взбрело на ум ляпнуть с глубокомысленным видом, что-де личность должна быть окружена недругами, а иначе она и не личность, а некое рядовое серячество-середнячество, ни два, ни полтора. Чушь все это, красивые разговоры. Кому из нас, интересно знать, ведомо, что должно быть, а чего быть не должно? Тем более в рассуждении духовных оценок. Так-то...

Недругов не было у Вадима Соловьева, не было и друзей. Некоторые из десятков приятелей представлялись Вадиму в иной час теснейшими товарищами, а другие из тех же приятелей виделись вдруг злобными и отчаянными врагами. Но все эти сполохи Ва-

димова темперамента вскоре меркли и затушевывались; внезапные друзья и враги возвращались в ряды симпатичных приятелей, оставляя в памяти возбуждающе саднящие и бесследно заживающие царапинки.

В само это словечко — Конура — не было вложено автором ничего от отгалкивающего изначального смысла: вот, мол, вонючая собачья нора, грязная, вся в клочьях слежавшейся шерсти и огрызках желтых костей, а сам хозяин, Вадим Соловьев — угрюмый цепной пес. Совсем наоборот. Безымянный автор, подметив некоторое сходство между Вадимовой подвальной берлогой и песьим досчатый домом, нарек первую Конурой в знак всяческого и безоглядного одобрения. Да, затхлый подвал — точь-в-точь собачья конура, и это очень хорошо, а радушный хозяин — да, пес, Пес Михалыч Соловьев, и это просто замечательно. Все мы, мягко выражаясь, псы в большей или меньшей степени.

Что же до сходства жилищ Вадима Соловьева и беспардонного какого-нибудь Полкана, — то оно было несомненно. В подвальной Вадимовой комнатенке, где он, вопреки закону, проживал без прописки, было и грязно, и сумрачно, и заплевано, а разошедшийся по всем швам пружинно-волосной диван вонял то ли клопами, то ли псиной. Да, может быть, и псиной, — потому что до Вадима в подвале проживал художник-нонконформист, эмигрировавший в Израиль, и у этого художника, кажется, была какая-то собака. Собаку художник увез с собой в теплые края, а диван оставил Вадиму. Вместе с диваном он бросил в подвале обломки чугунного стана для прокатки литографий и старинный краснодеревянный шкаф без дверец, без полок и без той палки, на которую цепляют вешалки со штанами и

пиджаками. В разрушенный шкаф с пробивающимися кое-где языками благородного пламени Вадим свалил зимнее пальто и другую запасную одежду, две простынки, подушку и четыре стопки перевязанных веревочками книг. Расхожий твидовый пиджак Вадим повесил на вбитый в стену крюк, на котором висела раньше картина в тяжелой раме. Пишущей машинке новый хозяин долго не мог подыскать подходящего места и, наконец, поместил ее в крохотной кухоньке, на единственном в подвале столе.

За два года, прошедших с отъезда художника, Вадим оброс необременительным хозяйством. На обломки стана были уложены доски — получился вполне удобный стол для еды и работы, и машинка переехала из кухни в комнату. Появился застланный спальным мешком топчан для ночующих гостей. Появилась полка для книг, две картины знакомых художников на стенах и цветной плакат, на котором была изображена маленькая девочка, разгуливающая с брудастым сенбернар по швейцарской полянке, на фоне снежных гор. Этот плакат был подарен Вадиму не случайно: Вадим Соловьев, Пес Михалыч, боялся собак так же панически и люто, как иные люди боятся змей или крыс. Эта несокрушимая боязнь служила поводом к шуткам: Вадиму подбрасывали бездомных щенят, дарили гавкающие игрушки. Кто-то из приятелей подметил — и довольно точно — что сам Вадим похож на молодого дога и лицом, и повадкой, и походкой и что именно по этой причине сложилась такая его нелюбовь к четвероногим сородичам. Вадим, родства не помнящий... Сенбернар на лужайке был подарен безобидной шутки ради. Да и подвал, теперь оборудованный и обжитой, был назван Конурой тоже, быть может, ради той же шутки.

А холодильник здесь был и ни к чему, потому что Вадим Соловьев никогда в жизни ничего не запасал впрок, даже на один день. "В тот день, когда человек задумывается о завтрашнем дне, он перестает быть человеком и превращается в муравья", — говорил Вадим, объясняя отсутствие запасов в своем подвале. Все, что можно было съесть и выпить, выпивалось и съедалось без остатка хозяином и его приятелями сразу по принесении из магазина, — будь то пельмени, водка или хлеб с плавленым сыром "Новый", который был бы похож на мыло, если бы мылился и давал пену. Повторяя этот афоризм и противопоставляя запасливого муравья самому себе — независимому прозаику и свободному художнику — Вадим Соловьев, разумеется, слегка грешил против истины: в дальнем углу кухни, под батареей, хранились четыре цыбика цейлонского чая, который извлекался оттуда без свидетелей и заваривался вдумчиво, — перед тем, как садиться Вадиму за машинку и начинать писать. Об этом безобидном тайнике, кроме самого Вадима, знала Наташа, жившая с Вадимом в подвале почти постоянно вот уже полгода. Но, обнаружь припасенный чай кто-либо из посторонних приятелей, Вадим смутился бы до покраснения лица и до слез: нищий, но независимый, он желал оставаться в глазах окружающих принципиальным до кончиков ногтей. Желание его было столь энергично, что, даже шаря под батареей, заваривая и вдыхая терпкий цейлонский аромат, он не позволял себе усмехнуться над своими принципами и как бы похлопать их фамильярно по плечу: садитесь, мол, принципы, за стол да выпьем-ка по стаканчику чайку, припасенного по причине дефицита и неуверенности в завтрашнем дне. Вадим предпочитал опасно не думать над отклоне-



нием от собственных правил, механически списывая нарушение по графе "для пользы дела": он был уверен, что крепкий хороший чай помогает ему сосредотачиваться над машинкой. Впрочем, быть может, это была только привычка, от которой он не собирался отказываться. Во всяком случае, получая удовольствие от вкусного горячего чая, Вадим и не собирался задумываться над причинами своей тайной запасливости.

Наташа, появившаяся в подвале полгода назад, незаметно сменила собою Таню, продержавшуюся здесь месяца четыре и тихо перешедшую к Вадимову приятелю Гольденферду. Гольденферду пробило уже тридцать — он был старше Вадима на пять лет. Он завершил период свободного и независимого бездомничания, работал теперь младшим редактором в молодогвардейском журнале "Сельская жизнь" и жил в однокомнатной квартире в Лобне, под Москвой. А Таня была славной, милой девушкой и нравилась Гольденферду... Он женится на ней почти безраздумно, она родит ему чудесного здорового ребенка, а на седьмом году счастливого внешне замужества выбросится в кухонное окно лобненской квартиры и разобьется насмерть об асфальт дороги. Гольденферд переживет самоубийцу на четверть века и умрет нестарым еще мужчиной в Мельбурне, куда его забросит очередная волна эмиграции из России. Сын его от первого брака забудет родной язык.

Наташа была не хуже и не лучше Тани — такая же самоотверженная, преданная Вадиму и влюбленная в свободную литературу русская девушка. Похожая и внешне на свою предшественницу, Наташа, войдя в Конуру и в жизнь Вадима, словно бы заняла там точно ту часть пространства, что занимала прежде

Таня. Небольшого роста — куда короче длинного и костлявого Вадима, немногословная и неназойливо деятельная, она сделалась как бы частью Вадимовой Конуры — такой же приятной и естественной частью, какою был там и сам Вадим. Надо сказать, что и Таня была там так же к месту.

К работе, или, как любил ее называть с оттенком уважительной иронии Вадим, к ремеслу своего друга Наташа относилась с благоговением, как к чуду. Они никогда не обсуждали между собой ни строчки, вышедшей из Вадимовой пишущей машинки: рассказы и наброски Вадима Наташа принимала безоговорочно, как, скажем, лунную дорожку на море, на которую следует молча смотреть, но которую не следует описывать, потому что лучше вот этих двух слов: "лунная дорожка" — все равно не придумаешь. Что же до прозы Вадима, то она была не столь плоха, чтоб о ней многословничать, и не столь хороша, чтоб о ней вовсе молчать, не произнося ни звука.

Деньги в жизни Вадима не занимали никакого места, им не было отведено ни уголка, ни полочки в полупустом шкафу Вадимова быта. И не потому, что их не было у него вовсе; нет, деньги водились. Гонорар капал то за перевод с подстрочника какого-то никому неизвестного татарина или нанайца, то за ответы на письма читателей какого-нибудь толстого литературного журнала, а то и за маленькую рецензию где-нибудь в "Знамени" или в "Дружбе народов". Когда деньги появлялись, Вадим знал точно, что вот они, лежат тоненькой пачечкой в заднем кармане брюк или, смятые в ком, в боковом кармане. А когда они кончались, выструившись до капли, как родник, из темной глуби кармана — тогда и говорить было не о чем. Но Наташа, а до нее и Таня и еще другие,

более отдаленные — все они принимали посильное участие в хозяйственной жизни Конуры. Наташа, например, служила корректором в газете "Речник", и ее зарплаты с грехом пополам хватало на каждодневное жевание. За подвал Вадим, естественно, не платил, поскольку не был там прописан. Подвал, где очень хорошо было играть в жмурки даже без повязок, числился нежилой художественной мастерской МОСХа и располагался под ветхим, облезшим и обсыпавшимся трехэтажным домиком на Самотеке, прошловековой постройки. Сложили этот теремок, как видно, сразу после знаменитого московского пожара 1812 года, когда жилищная проблема обострилась. А, может, бывший этот особнячок даже и перестоял пожар, и как раз в его огне дал многочисленные трещины, разбежавшиеся по кирпичным стенкам по всем направлениям... Углубленный же в землю наподобие могилы подвал остался, надо полагать, в стороне от политических и стихийных потрясений эпохи. Спускаясь в подвал в 1812 году или в 1917 году, либо просто за холодным пивком, обитатели дома, со стесненным сердцем, вступали словно бы в преддверие преисподней и на время прерывали связь с не всегда легкой, но привычной жизнью на поверхности земли. Всякое добровольное углубление в недра тревожно и волнительно.

Подспудно тревожился и Вадим, впервые спускаясь по темной и узкой, с выщербленными и вытертыми ступенями лестнице в подвал, который при всяком повороте российской истории вполне сгодился бы для расстреливания людей. Но время и камень точит, и в третье или четвертое посещение художника-нонконформиста он уже привык и не обращал внимания ни на разбойную эту лестницу, ни на мрачные

стены, подходящие для нацарапывания на них последних сообщений и проклятий, ни на низкий сводчатый потолок, способный надежно глушить и душить всякий звук — будь то хлопок выстрела, или выстрел пробки из ствола шампанской бутылки, или бессвязное бормотание поспешной любви.

Вселившись в подвал после отъезда художника, Вадим ничего не собирался там менять и переустраивать. На свое новое и случайное жилище Вадим смотрел как на временную остановку в теплом и довольно приятном местечке, ему, Вадиму, не принадлежащем. Оно, собственно говоря, было ничейным — всякий человек мог прийти сюда, поселиться и жить, и он оказался бы здесь на равных правах с Вадимом Соловьевым. Тот факт, что Вадим получил ключ от подвала из рук последнего законного жильца, художника, не имел никакого значения. Любой желающий мог донести на Вадима — вот, мол, живет человек в центре Москвы без прописки — и Вадим был бы выселен, и его неприятности на этом только бы начались. Донести прежде других мог бы, разумеется, дворник, — но дворник не был приписан ко двору кирпичной развалюшки, да и двора-то не было никакого, а был то ли какой-то полупустырь, то ли укромная площадка для прогулок кошек и собак. Управдом — тот уже обязан был донести, но и он не представлял опасности, поскольку власть его распространялась на несколько пятиэтажных многоквартирных домов, а этот бывший особнячок давно уже предназначался на снос и управдом туда не заглядывал, чтоб не выслушивать жалобы законных жильцов на протекшие потолки и лопнувшие трубы.

Таким образом, московское житье-бытье Вадима было вполне налаженным; трехкомнатные родитель-

ские хоромы он вспоминал нечасто и с недоброй ухмылкой, отчасти оттого, что там жили тучные супруги Соловьевы, отчасти же оттого, что помещались эти хоромы в городе Киеве: Киев он не любил, да и родителей тоже. Отец, Михаил Матвеевич Соловьев, представлялся ему ничтожеством с ученой степенью доктора философских наук, в вечносинем костюме английского шевиота, из-под которого нагло и в то же время жалко выглядывала украинская сорочка с кисточками, расшитая цветами и петухами. Перед обедом, потирая пухлые веснучатые ладони, Михаил Матвеевич неизменно выпивал стопку горилки с перцем — хотя спиртного не любил и всерьез никогда не пил. В ресторане, распинаясь в любви к украинской кухне, заказывал галушки — хотя терпеть их не мог, как и всю украинскую кухню. Сидя в гостях или на второстепенном совещании, он мог вдруг, ни с того, ни с сего, замурлыкать "Сижу я в темнице та думку гадаю, — чому я не сокол, чому не летаю" — хотя песен не любил, а Шевченко не перечитывал со школьных лет... Все эти уловки наперечет были известны студентам Института связи, где Михаил Матвеевич руководил кафедрой марксизма-ленинизма, и сеяли сомнения в душах сообразительных хлопцев и девчат: а не примазывается ли профессор? А не Соловейчик ли он? А не Мойше ли Мордкович?

Вадим знал об этих сомнениях, но не знал о том, что есть-таки у нашего забора двоюродный плетень, что затесался-таки в родословную Соловьевых еврей, а то и два. С материнской ветвью дело обстояло еще круче: бабка Вадима, мать Веры Семеновны, была киевской еврейкой и погибла в Бабьем яру. В немецкую комендатуру ее отвел, в соответствии с указаниями оккупационных властей, Вадимов дед, сапож-

ник Семен Нечипоренко. Выполнив свой гражданский долг, дед перебрался в Житомир, где вскоре умер от двустороннего воспаления легких, переживя жену на неполных два месяца. Их дочь Вера в день начала войны была в пионерском лагере и эвакуировалась вместе с ним вглубь российской территории, в Казань. Вернувшись после войны на Украину, она получила на руки справку о том, что ее родители пропали без вести. И так было лучше для всех: для Веры Семеновны, для ее семьи и для отделов кадров.

Вадима коробили неуклюжие отцовские номера с горилкой и вышитыми сорочками. Уже в десятом классе он с огорчением понял, что родители его выпечены из того теста, которое ему, Вадиму, не по вкусу. Ему хотелось бы гордиться высокопоставленным отцом — но Михаил Матвеевич, с его поношенными шутками и затверженными из правильных книг истинами, лишь раздражал его и вгонял в краску. Срезавшись на вступительных экзаменах в университет, он, однако, воспользовался связями отца и без риска поступил на первый курс Института связи. Не попади он в институт — он пошел бы в армию, а этого он не хотел. Отец, таким образом, сослужил ему добрую службу, но Вадим, разглядывая из аудитории его сытый живот, обвисшие мешковатые щеки и петуховую рубашку, не испытывал к нему ничего, кроме протестующей неприязни: тайная признательность подтачивала основы его независимости.

Закончив первый курс, Вадим уехал на каникулы в Москву и не вернулся в Киев. Отец без укоров прислал по почте деньги на обратный билет — Вадим вернул их телеграфом. Отец прислал вторично — Вадим пропил их с приятелями. С первого дня в Москве он попросту забыл о родителях, забыл легко, сладко и,

кажется, навсегда. Историю о том, как Вера Семеновна, найдя Вадимов рассказик о запертом в сумасшедший дом правдоискателе, передала тощую стопку страничек отцу, а тот молча и торжественно разорвал рукопись в клочья, выбросил в уборную и спустил воду -- эту недавнюю историю Вадим связывал и сопоставлял не столько с перепуганными родителями, сколько с вещами в их вылощенной и надраенной квартире: с полированным румынским буфетом, с хрустальными вазами на нем, со всегда прибранными кроватями, более подходящими для торжественной смерти, чем для сна или любви, — как будто это они, эти бездушные и бесполые в своей порядочности предметы уничтожили его свободную мысль, изложенную на пяти страничках. Да и сам Киев был причастен к этой расправе — с его тупой толпой на Крещатике, с его самодовольными соборами и даже с Днепром, бессмысленно текущим под бугром. А Михаил Матвеевич и Вера Семеновна Соловьевы представлялись Вадиму двумя пылинками во всей этой неприятной, опротивевшей среде, оставленной им безвозвратно.

Новые приятели появились быстро. Вадим оброс ими, как обрастает кристалликами инея бутылка водки, вынутая из морозильника. То были сердитые молодые поэты и прозаики, мрачно мечтающие о первой публикации, и голодные, но пьяные художники-нонконформисты, нацупывающие тропу к карманам иностранцев, отечественных снобов и просто богатых дураков. И писатели, и художники шумно пророчествовали за стаканом водки о будущем России, не очень-то, впрочем, веря в сбываемость своих пророчеств. Вадим помалкивал, слушая рассуждения о христианском обновлении, о творческой обработке

сибирских топей, о демократической эволюции или о преимуществах просвещенной монархии. Ночуя по приятелям, ворочаясь на пролеженных диванах или брошенных на пол зимних пальто, он разглядывал на стенах случайных чужих домов портреты царя Николая II и Бориса Пастернака, фотографии английской Палаты лордов и советских концлагерей. Наконец, ему добыли пропуск в общежитие Театрального института и он поселился там во временно пустующей комнате и даже обзавелся хозяйством: ветхой пишущей машинкой и спиральным электрокипятильником. Он много писал, пил незапойно, влюблялся безболезненно. Его повесть, написанная от лица мощей в киевской Лавре, появилась в Самиздате и была отмечена как ревнителями свободной российской словесности, так и литературными консультантами КГБ. Да и в кругах официальной литературы о нем заговорили, правда, раздраженным шепотом: вневременная исповедь святых мощей не оставила равнодушными ни мракобесов, ни легальных левых. Одни считали его тайным жидом, присошавшимся к русской культуре, другие — бесстрашным русским патриотом. Он же сам, дыша московским воздухом, не задумывался над своим происхождением и относил себя к москвичам — и только.

Ключ от Конуры пришелся Вадиму как нельзя более кстати: из театрального общежития его давно выселили, а от критика Ръжова он сбежал сам, спасаясь от клопов и круглосуточных разговоров с хозяином и его гостями. Эти разговоры не пройдут даром для Ръжова: его арестуют вскоре после смерти Брежнева и дадут два года тюрьмы и три года ссылки, обвинив его, между прочим, в связи с врагом народа Вадимом Соловьевым.



Поселившись в Конуре, Вадим Соловьев почувствовал себя счастливым и свободным человеком: ему хорошо писалось, и водились у него славные и необременительные приятели, а смена Тани Наташей произошла так плавно и легко, что ничуть не поколебала его устойчивого счастья. Что же до чувства свободы — что ж, он был свободен куда более большинства своих сограждан, хотя бы потому, что способен был чувствовать всеобщую несвободу. Не скованный по рукам и ногам постылой службой, он не воспринимал это как должное, по-хамски — но радовался этому и неназойливо благодарил Бога, к которому обращался изредка, в самых острых случаях, — быть может, оттого, что был человеком совестливым и тактичным. Как всякий советский гражданин, он, естественно, задумывался с холодеющей душой над нависающей сводом угрозой тюрьмы, — но размышлял об этом как о реально существующем, но отдаленном предмете: никто не заговорен от тюрьмы, и не в человеческих силах предотвратить что-либо или предвосхитить. Вон Рожковскому дали три года за стихи, и Мельмана взяли за демдвижение. Но стены Конуры кажутся, все-таки, такими прочными, такими глухими. Авось, минует, пронесет.

Тюрьма, когда он думал о ней и представлял ее себе вживе, пугала Вадима. Она виделась ему столь же неотвратимой и обязательной, как смерть, — и от этого чувства беспомощности перед Тюрьмой Вадиму становилось немного легче, словно бы он, утешая, сам гладил себя по голове... Это, конечно, верно, что в политлагерях сидят самые светлые, самые чистые российские силы. Верно и то, что по ту сторону решетки человек внутренне более свободен, чем посреди так называемой воли, обнесенной часто-

колом уже вошедших в привычку страхов, — в частности, страха вдруг быть посаженным за решетку, в тюрьму. Более того: посадка в тюрьму, хоть ненадолго, на годик-другой — это как бы знак высшего совершенства, сверкающее клеймо благонадежности в среде вольнодумцев. И, все-таки, вопреки доводам разума, Вадим панически боялся тюрьмы — когда она обретала реальные черты Владимирки или потьминских лагпунктов. Скажи ему кто-нибудь, что вот этой ночью он будет арестован — он, пожалуй, потянулся бы к газовому кранику или веревке. Он готов был жить без сверкающего клейма. С него было достаточно, что ГБ проявляет определенный интерес к нему и к его прозе; и это, несомненно, возвышало его в собственных глазах.

КГБ оставался сказочным драконом со вставными зубами до той поры, пока жил в соседнем лесу. Визит же в Конуру какого-то капитана Романова, мягким голосом пригласившего гражданина Соловьева явиться на Лубянку, оглушил Вадима.

Вадим был дома один, когда пришел мягкоголосый капитан. Переступив порог, он цепко оглядел комнату и, остановившись, наконец, на хозяине, улыбнулся приятной улыбкой. Улыбнулся и Вадим — потерянно, ищуще.

— Ну, вы и забрались! — все улыбаясь, сказал капитан Романов. — Прямо шею можно сломать...

— Да вы садитесь, — сказал Вадим, не двигаясь с места. — Вы...

За этим "Вы" легко угадывалось "Кто же вы?", но Вадим и сам прочитал ответ в этой дружелюбно-покровительственной улыбке, в этом быстром и цепком, как у кошки, оглядывании. Так вот как они, значит,

выглядят... Вадим чувствовал внутри себя гулкую литую пустоту, вдруг наступившую.

— Да нет, я ведь по делу, — сняв улыбку с лица, но совсем не грозно сказал капитан Романов. — Завтра... Площадь Дзержинского... подъезд... бюро пропусков...

Слова капитана журчали мимо Вадима, лишь задевая его. Только когда дверь за ним затворилась, Вадим тоскливо сообразил, что не помнит, когда ему надлежит явиться — в десять или в одиннадцать. Он ухватился за эту свою забывчивость, и именно она его угнетала более всего. Ведь, может, этот самый капитан Романов сказал прийти в девять? Или в четыре? Если не прийти вовремя, они наверняка разозлятся. А за что его, собственно, вызывают? Он даже не спросил. А и спросил бы — этот капитан едва ли бы ответил. Неужели посадят? Но тогда зачем сначала вызывают? Э-э, лучше себе голову не ломать — зачем. Жалко только, что не на сегодня вызвали — быстрее бы все это кончилось. Так ведь они, наверно, специально потому и вызвали на завтра, чтоб помучить.

Отойдя, наконец, от двери, он прилег на топчан. Хоть бы пришел кто-нибудь. Или Наташа. Надо непременно с ребятами повидаться, предупредить: если завтра не отпустят оттуда, чтоб сразу передали западным корам. Он, Вадим Соловьев, в конце концов, тоже диссидент. Самиздатский автор, во всяком случае. Хорошо евреям — как кого-нибудь из них заберут, так весь мир об этом кричит, все радиостанции. Но ему, Вадиму, на еврейскую поддержку рассчитывать не приходится, а до русских людей — кому дело?

Он поднялся, пошел на кухню, заварил цейлонского. Хорошо попить чайку. Жалко, водки нет. Вот когда надо, ее всегда и нет.

Он пошел к десяти.

На площади Дзержинского кипела и переливалась толпа, как будто здесь давали растворимый кофе или польские перчатки. Осененный всеми этажами словно бы отлитой из чугуна Лубянки, в центре площади стоял на круглом пьедестале фаллический Дзержинский.

Вадим не спеша, вполшага огибал площадь. У Детского мира он, постояв в очереди, купил эскимо и, откусывая от шоколадного столбика кусочки мороженого, глядел, не переходя улицу, на угловой подъезд Лубянки. Отсюда, не приблизившись еще вплотную и не войдя в подъезд, он придиричиво и пристрастно разглядывал Большой дом, — как вглядывался бы в зоопарке в большого опасного хищника, опершегоя сильным плечом о решетку, но остро пахнущего лютой ночной свободой, лесными засадами и смертью, сочащейся бурой кровью. Он даже потянул носом воздух — но не учуял ничего, кроме мертвой вони выхлопных газов. А ему хотелось бы услышать запах звериного логова, убоины и тронутой прелью болотной травы. Он любил запахи, сколько помнил себя — запах жареного мяса и дождевого ветра, подснежников и топленого молока. Дурманящий запах свежего хлеба и дурманящий запах женских волос. Он забывал имена и лица случайных и недолгих подружек — и помнил их запахи. Лишенный запахов мир представлялся ему кастрированным гигантом. Он, Вадим, чувствовал бы себя несчастным в таком мире. Утро должно пахнуть утром, ночь — ночью. У всего есть свой запах. Только абсолютное ничто, куда более мертвое, чем смерть, не пахнет ничем.

Но Лубянка, провонявшая выхлопными газами —

еще даже и не смерть. Лубянка — это липкий пот страха, расходившиеся нервы, соломенный ком в сухом горле. Вот она, Лубянка, через дорогу. Вот этот угловой подъезд.

Слева от подъезда в стене помещались неприметные железные ворота, одностворчатые, с наблюдательным глазком посреди створки. Вадим, шагнувший уже было к подъезду, услышал вдруг хриплый визг тормозов за спиной, и нечто рыжее, похожее на большой футбольный мяч, высоко подброшенное бампером черной "Волги", ударило о стену и мешком упало на тротуар рядом со ступеньками подъезда. Тем временем электрические ворота, пропустив "Волгу" во двор, быстро и бесшумно затворились за нею.

Рыжий мешок, валявшийся на тротуаре, оказался ирландским сеттером. Хозяин издыхающей собаки сидел рядом с ней на корточках, держа в руках конец поводка, пристегнутого к ошейнику. Толпа, вмиг сбившаяся, глазела на происшествие.

— Собака-то дорогая, — доносилось из толпы.

— Хозяин цел — и то слава Богу.

— Разве можно так ездить, в центре города!

— А ты молчи. Они сами знают, как им ездить.

— Он ее за цепь держал — так прямо из руки вырвало.

Сеттер еще дышал. Протиснувшись вперед, Вадим глядел на агонию собаки. Он, кажется, впервые в жизни видел, как умирает животное. В широком окне между воротами и подъездом сдвинулась кремовая занавеска, к стеклу придвинулись лица: из комнаты глядели на толпу и на собаку и переговаривались, но слов нельзя было ни услышать, ни уга-

дать. Потом занавеску задернули, а за спиной толпы появилась тройка милиционеров.

— Расходитесь, граждане, расходитесь! — деловито указывали милиционеры. — Ну, чего не видали! А ну, проходите!

Но толпа не расходилась, а только сбивалась плотней, не давая милиционерам протиснуться к сеттеру и его хозяину.

— Номер-то машины заметил кто? — спрашивали в толпе.

— Захотят — найдут.

— Как же, захотят они! Разбежался!

Вадим стоял, глядел пристально на немигающий, еще живой глаз сеттера. Вот сейчас он закроется, и собака умрет. Или нет, не закроется? А только набежит эта самая стеклянистая дымка, о которой столько написано? Или это только у человека — дымка? Кто знает... Как это жутко — умирать тут, на вонючем асфальте, около тюремных ворот с глазком. Ведь это и его, Вадима, могла стукнуть черная "Волга", и он бы тогда лежал сейчас здесь, у стены, вместо собаки, и глядел бы на ноги толпы и ждал, когда набежит эта дымка и все кончится. Собаку хозяин гладит по голове, а его, Вадима, некому было бы и погладить. Смерть у тюремных ворот, у ног толпы, в бензиновой вони. Жутко! А душа все равно освободится, и уйдет свечой в небо, и соединится с самою собой, со своей первоосновой, как опавший лист вернется к ветви и стволу для нового расцвета — вопреки всем этим придуманным законам природы. Остров душ там, вверху, облако душ. Жалко, что оно бесплотно, невидимо, неподвижно. Вот если б было оно цвета павлиньего пера и можно было бы видеть его отсюда, снизу — как оно покойно и медленно движется в

океане Вселенной, в море земного неба! Впрочем, может быть, все наоборот. Может, Земля — бурозеленый плавающий остров в прозрачном насквозь океане душ.

Толпа все не расходилась. Любопытные бежали к ней с Охотного ряда и от Центральных касс Аэрофлота. Какие-то шустрые иностранцы, поднявшись на ступени Детского мира, щелкали затворами фотоаппаратов: похоже было, что толпа собиралась штурмовать лубянские ворота.

Ворота бесшумно отворились на треть, и из щели показался солдат охраны с пожарным багром в руках. Опасливо поглядывая на толпу из-под лакированного козырька фуражки, солдат закогтил собаку багром и поволок ее в ворота. Хозяин, не выпускавший поводка, шагнул следом за своим сеттером.

— Ты куда! — вскинув острый ребячий подбородок, закричал солдат. — Нельзя сюда! А ну!

Хозяин отпустил поводок, и он, извиваясь, вполз в ворота. И ворота затворились бесшумно.

Толпа, как бы опомнившись, расходилась молча и быстро.

Вадим, потянув тяжелую дверь подъезда, вошел и остановился перед часовым.

— Соловьев, — сказал Вадим немигающему часовому. — Вызывали меня сюда...

Кабинет был обставлен канцелярской дубовой мебелью: тяжелый, крытый зеленым в давних чернильных пятнах сукном стол, строгие массивные стулья, книжный шкаф с обязательной Большой советской энциклопедией и классиками марксизма-ленинизма. В одном углу стояла круглая рогатая вешалка, в другом — высокие стоячие часы-маяник.

Со стены глядел Дзержинский — грозно и Брежнев — отчужденно и сыто. Окно кабинета затянуто было кремовой шелковой занавеской.

— Присаживайтесь, — сказал удобно устроившийся за столом громоздкий мужчина за пятьдесят, с аккуратно зачесанными наверх редкими волосами. — Что ж это вы опаздываете? А?

— Да там собаку задавило, — промямлил Вадим. — Внизу.

— Какую еще собаку! — Зачес досадливо взмахнул широкой белой ладонью. — Вы сами-то понимаете, что вы несете?

Зачес сурово глядел на Вадима, словно бы ожидая дальнейших разъяснений насчет собаки, послужившей причиной опоздания. Вадим молчал, уставившись на зеленое сукно стола. Ему хотелось, чтобы Зачес скорее вызвал солдат, — или кого они там вызывают в таких случаях, — и те повели бы его, Вадима, в подвал, в камеру. Говорят, здесь сколько подземных этажей, на Лубянке — шесть, семь... Но Зачес молчал, как будто ему вовсе нечего было сказать.

— Зачем вы меня вызвали? — спросил, наконец, Вадим.

— А то вы сами не знаете! — ухмыльнулся Зачес. — Ну, подумайте, подумайте...

Вадим послушно подумал, пожал плечами:

— Я, правда, не знаю.

— Ну, как же так — не знаете! — не поверил Зачес. — Расскажите-ка о себе: как работаете? Написали что-нибудь новенькое? Я, знаете ли, читал эту вашу вещицу о мощах. Интересная вещица.

Вадим продолжал разглядывать сукно. Ему вдруг стало жарко, он вспотел.

— Что ж это вы молчите? — продолжал напирать



Зачес. — Мы ведь с вами тут не в молчанку играем, у нас дел много... Говорите!

Вадим вдруг почувствовал мерзкую неловкость оттого, что вот он опоздал, а теперь отнимает время у этого загруженного какими-то разбойными делами начальника, и он сейчас, наверно, начнет орать и стучать кулаками по столу.

— Да я пишу... — выдавил из себя Вадим. — Так, в машинке все... Незаконченное...

Ему было противно и дико говорить с Зачесом о своей работе, а молчать, не отвечать было страшно.

— Да, не с теми людьми вы связались, молодой человек, — без всякого перехода сказал Зачес. — Расскажите-ка о своих друзьях!

— Нет у меня друзей, — подавшись назад, сказал Вадим Соловьев.

— Как же нет! — снова ухмыльнулся Зачес. — А у меня вот тут записано, что есть. — Он вытянул из ящика стола лист бумаги и поднес его к лицу. — Вот, вот... Кто к вам только не приходит!

— Приходить приходят, — неохотно согласился Вадим. — Так это знакомые... — Он хотел было добавить "и незнакомые тоже" — но передумал, промолчал: Зачес, пожалуй, не так поймет, опять прицепится, а потом разматывай.

— С друзьями тоже сначала знакомятся, — назидательно заметил Зачес, — а потом уже знакомство становится дружбой... Просто знакомому человеку ведь душу не откроешь, а?

Почуяв подвох, Вадим на этот раз промолчал, вздохнул только, выражая тем самым как бы согласие с Зачесом, но согласие косвенное, ни к чему не обязывающее.

— Не хотите, значит, говорить, — Зачес ладонью под-

вел черту, а потом, подняв руку, взглянул на часы. — Ну, ладно, дело ваше... Когда и где вы в последний раз встречались с Голубем?

— С каким Голубем? — переспросил Вадим Соловьев. — Фамилия, вроде, знакомая...

— Ну, довольно! — Зачес несильно шлепнул ладонью по столу. — Хватит дурака валять! Голубя он не знает!

— Это поэт, что ли? — искренне пытался вспомнить Вадим. — Миша Голубь? Да я с ним еле знаком.

— Не поэт, а тунеядец, — строго поправил Зачес. — Он у вас ночевал. Не отрицаете?

— Да у меня много людей ночует... — сказал Вадим.

Все наставления бывалых приятелей о поведении на Лубянке вымело у него из головы, он боялся этого крикливого мужчину за столом, боялся этой тяжелой мебели, этих стен, этого затянутого занавеской окна. Он боялся молчать, боялся спрашивать. Он вдруг почувствовал себя как бы опущенным в воду: движения скованы, рубашка противно мокра и холодна. Перед глазами его маячил молоденький солдат с прыщавым подбородком, зацепивший багром собаку и тянущий ее в узкую щель ворот.

— Когда он у вас ночевал? Сколько раз? С кем?

— Я не помню... — еле шевеля губами, сказал Вадим. — С девушкой какой-то.

— Как звали девушку? — глухо рокотал Зачес.

— Да я ее не знаю... А что с ним случилось?

— Он у нас, — сухо объявил Зачес и, видя, что Вадим не понимает, добавил: — Арестован ваш Голубь. И он рассказывает о вас куда более подробно, чем вы о нем.

Значит, Миша Голубь арестован. Но за что? И как он, вообще, выглядит? Маленький, рыжий? Нет, рыжий — это Решетовский, он, кажется, и привел этого

Голубя ночевать. Но какая связь между Голубем и им, Вадимом Соловьевым? Какая связь! Дадут три года, вот и вся связь. И ведь невозможно ничего доказать этому страшилищу, они тут все заранее решили.

— За что его арестовали? — тихонько спросил Вадим.

— За распространение слухов, порочащих советский государственный строй, — отчеканил Зачес. — Теперь вам ясно, зачем вас сюда вызвали? — Он глядел на Вадима не грозно и не прожигаяще, а как-то обыденно-безразлично, и это было еще хуже, еще страшней. — А как, кстати, поживает ваша тетка? — нагледевшись вволю, спросил Зачес.

— Какая тетка? — подавленно удивился Вадим.

— Ну, как же, — Зачес отодвинулся от стола и закинул ногу на ногу. — У вас есть тетка в Израиле, в Тель-Авиве.

— Нет, — не понимая еще, куда клонит Зачес и радуясь очевидности его ошибки, сказал Вадим. — Вы ошибаетесь. Нет у меня никакой тетки. Я русский.

— Некрасиво скрывать национальность, — укорил Зачес. — Вот я, например, русский и этого никогда не скрывал... А ваша бабушка...

— У меня нет никакой бабушки, — сказал Вадим Соловьев.

— Нет — но была, — нахмурился Зачес. — По линии вашей матери, Веры Семеновны Нечипоренко.

— Ах, Софья Львовна! — спохватился Вадим Соловьев. — Она пропала без вести во время войны.

— Не Софья Львовна, а Сара Лейбовна, — назидательно, с удовольствием поправил Зачес. — А без вести у нас даже муха не пропадает, не то что человек... Ваша бабушка, вместе с другими советскими гражданами

еврейской национальности, была расстреляна немецко-фашистскими оккупантами в Бабьем яру, в Киеве... Так что есть у вас тетка в Тель-Авиве. Ясно? И я, молодой человек, дам вам один совет: уезжайте-ка вы в Израиль, или куда хотите. А то неприятностей не оберетесь, между нами говоря. Вон мы Голубю тоже советовали в свое время добром, а он нас не послушался... Ясно?

— Но я об этом никогда даже не думал! — воскликнул Вадим. — И нет у меня никакой тетки в Тель-Авиве!

— Тетка есть, — настойчиво поправил Зачес. — Вот она вам вызов прислала, на постоянное жительство. — Открыв ящик стола, Зачес достал оттуда плотный почтовый конверт.

Значит, не сажают. Какая там бабушка, какая, к черту, тетка! Откуда они взяли этот вызов? Сами, что ли, напечатали? Боятся они, вот оно что. Боятся "Мощей", боятся "Вида из подвала". Высылают! Высылают, как Солженицына, как Некрасова, как Максимова! Насолил ты им, Вадим Соловьев, ах, как насолил! Согласиться, что ли? А что еще остается — в тюрьму идти? Ну, нет. Поеду в Вермонт, к Александру Исаичу, покажу ему наброски "Москвиады". Но какие сволочи! Испугались! Значит, стоишь ты чего-то, Вадим Соловьев, даже большего, чем сам ты думал. Высылаете? Хорошо. Я вам покажу, что я могу. Настоящая правда — она пострашней ваших лагерей. А я расскажу правду, будьте спокойны... Эйфелева башня, Палата лордов. Биг Бен. Статуя Свободы.

— Я вспомнил, — поигрывая желваками, мстительно сказал Вадим. — Тетя — есть. В Тель-Авиве.

— Ну, вот и замечательно. — Зачес припечатал вы-

зов ладонью. — Заполните-ка эту анкету. Фотографии с собой нет? Ну, ничего, в порядке исключения обойдемся без фотографии. Квартиру вам сдавать не надо, пианино отгружать не надо. Тетя уж как-нибудь побеспокоится. — Он откинулся вместе со стулом к стене и подмигнул. — Пишите, пишите!

Не вдумываясь, машинально заполнял Вадим анкетный вопросник, небрежно путал события и даты. Что б он тут ни написал — все равно ведь высылают! Да напиши он даже, что он, Вадим Соловьев — чукотский шаман, — это тоже дела не изменит. "Гражданин чукотский шаман Вадим Соловьев, пройдите в зал для отлетающих пассажиров!" Москва—Вена — приятная перемена. Вена—Рим — по-римски поговорим. А Россия? "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ". Не он, Вадим, первый, не он и последний. Высылают. Кому-то, все-таки, надо освещать мир. Из лагеря особо не поосвещаешь.

— Число вот здесь поставьте, — указал пальцем Зачес. — И подпишитесь.

— Какое сегодня? — спросил Вадим.

— 24 декабря 1976 года, — помог Зачес.

— Только у меня денег нет, — расписавшись и отодвинув анкету, вспомнил Вадим. — Один билет сколько стоит...

— Ай-яй-яй! — упрекнул Зачес. — Общественно-полезным трудом, значит, не заработали. Но мы не такие, как бы это сказать, бессердечные, как вы о нас пишете. — Он опять запустил руку в ящик, вытянул оттуда другой конверт, поменьше. — Вот ваш билет, вот виза. Смотрите, не потеряйте... Распишитесь в получении.

— Нет, — твердо сказал Вадим. — Не распишусь.

В ваших ведомостях моя подпись стоять не будет. Вот я в анкете расписался.

Зачес взглянул озабоченно.

— Да это ж просто формальность! — сказал он. — Для отчетности.

— Я-то тут при чем, — пожал плечами Вадим. — Я подписываю мою прозу, а не вашу отчетность.

Облокотившись о стол, Зачес поморщился кисло.

— Ну, ладно, ладно... — пробурчал он. — Прозу он подписывает... Пушкин... Гражданин Соловьев, вам объявлено, что вы должны покинуть пределы Советского Союза не позже 31 декабря 1976 года. Ясно? Можете идти!

Значит, не сажают. Страх прошел. Вадим глядел на Зачеса задумчиво, даже как бы с сочувствием. Вот сейчас он делает русскую историю — высылает за границу, в эмиграцию, русского писателя. Да разве он понимает, что делает? Да разве понимает он, что в эту минуту отверзает уста немому? Освобождает руки связанному? Ничегошеньки он не понимает, этот тупой чурбан, которому случайно выпало счастье войти в историю как палачу-освободителю Вадима Соловьева. Да разве сейчас это его волнует? Другое его волнует, этого несчастного: как бы без осложнений получить подпись высылаемого, как бы службу закончить без взысканий в звании майора или там полковника, и садовый участок получить, и по благу дерьмо для удобрения клубники, и чтоб клубника эта шла на базаре по пяти рублей кило.

Сам того не зная, Вадим был прав. Так оно и будет с майором Середюком. Он выйдет на пенсию полковником, получит участок на Клязьме, и дерьмо, и клубнику. Он доживет до старости и умрет на семьдесят

четвертом году жизни от сердечной недостаточности, окруженный вниманием взрослых внуков.

О Вадиме Соловьеве он вспомнит через год, а потом забудет о нем навсегда.

Дойдя до метро, он подумал о Наташе. Как же это он забыл, как упустил из виду в разговоре с этим дубиной Зачесом, у которого он, кстати сказать, не спросил по рассеянности даже его имени! Надо было сказать: "Или вы высылаете меня с Наташей, или я остаюсь!" Выслали ведь вот так года полтора назад одного демократа, так он вывез с собой в Америку жену с братом и любовницу с мужем и с родителями. Сказал: "Или так, или — никак! И еще сухую голодовку объявлю!" И — выпустили. Наташа! Какая же это теперь будет морока — все объяснять, и оправдываться, и не оправдаться. Все это из-за проклятой собаки — как ее затаскивали крюком, и ворота медленно и бесшумно закрывались. Тут обо всем на свете забудешь, о маме с папой забудешь.

Потоптавшись у входа в метро, он зашагал обратно к Лубянке. Пересекая площадь, он представил себе родителей, в их сдобном киевском благополучии, и усмехнулся. В последний раз смотреть на Днепр с бугра он, конечно, не поедет, но открытку, все-таки, послать старикам надо. С границы. Или, лучше, уже с видом Вены. Электрификация дачки — это отцу понятно, а освещение мира правдой ему не по плечу. Когда он солженицынское "Жить не по лжи" прочитал, он только и нашел, что сказать: "Идеалист этот Солженицын! Опасный идеалист!" Будут теперь неприятности у знатока марксизма-ленинизма. Сколько же это ему еще до пенсии осталось?

Поравнявшись с подъездом, Вадим прошагал мимо: надо обдумать, как вести разговор с этим Зачесом. Это ведь сразу хорошо было выпалить: "Либо — так, либо — никак". Теперь надо по-другому действовать. Не просить, конечно, — а вот, например, так: "Я обдумал ваше предложение..." Нет, не годится — какое же это предложение! Не надо же, все-таки, с ними дурака валять! Войти, сесть, сказать: "Я передумал..." Нет, тоже глупо... Надо было сразу все говорить, сразу! Это все из-за проклятой собаки, прямо знак какой-то, проклятие!

Часовой в подъезде осмотрел его вдумчиво.

— К кому? — спросил часовой.

— Да вот я был тут, — пустился в разъяснения Вадим. — На втором этаже, кажется. Комнату не помню. У высокого такого, в черном костюме. С зачесом.

— Фамилия? — спросил часовой, не сводя глаз с Вадима.

— Соловьев...

— Не значитесь, — полистав пачечку пропусков на столике, вновь выпрямился часовой.

— Да мне надо... — сказал Вадим. — Я же был только что.

— Выйдите, гражданин! — погрознал часовой. — Нельзя!

Вадим вышел вон и в обход площади поплелся к метро. Страх перед часовым медленно, медленно отпускал его.

Покачиваясь в вагоне метро, он уже смеялся над своими страхами. Ему было легко, летуче — как будто вместе со страхом оставляла его изнурительная болезнь, и он возвращался в привычную, но как бы обновленную жизнь с ее запахами, дождями, тьмой и светом. Зачес — страшный? Да, еще как! А часовой



в подъезде? Страшный, как расстрельщик, как стальное дуло. Но теперь страх прошел, как горячий смерч над полем. Да, он боялся, Вадим, он взмок от страха — и в этом нет ничего постыдного. Все на свете чего-то боятся, боятся постоянно, до самой смерти, и только пытаются самим себе заморочить голову от страха: я смелый, я ничего не боюсь! Бойтесь, милые, еще как бойтесь! Сначала — родителей, потом учителя в школе, потом начальника на работе. И зубного врача, и постового милиционера, и венерической болезни. И ночного леса, и грома. И рака. И смерти. И, в серьезных случаях — Бога. Вся жизнь, от начала до конца — это столкновение со страхом. Страх направляет человека поступать так, а не иначе. Смелость — это бунт против вечного страха, бунт, обреченный на подавление. Смелость — это опьянение собственным страхом; а по пьянке чего только ни натворишь... Слава Богу, что человек все забывает до поры, тем и держится...

Вот и Вадим, разглядывая свою визу, забыл о только что пережитом страхе, и майка даже вроде бы просохла. Через несколько дней он будет в Вене! Венские булочки, кофе по-венски. А этот часовой с осьминожьим взглядом останется торчать в своем проклятом подъезде... Потом — Париж. Мансарда с грубым столом, в окно видны сиреневые крыши. Париж, "Праздник, который всегда с тобой". А Зачес пусть подавится своей дерьмовой клубникой. Какое это дивное облегчение — выйти из его кабинета и больше никогда в жизни с ним не встретиться. Прощай, Зачес, будь ты проклят! Вот я тебя и не боюсь. И вообще никого и ничего больше я не боюсь. Меня ждет Запад, Свободный мир добрых людей с врожденным чувством справедливости и

юмора. В парижских кафе меня ждет цвет опальной русской интеллигенции. Меня ждет свободное творчество и свободная печать. В свободном от страха мире, освобожденный, — я, наконец, напишу правду. Мир вспыхнет, как электрическая лампочка, от прикосновения к обнаженному проводу правды. Ради этого стоит бросить Наташу, которая, кстати сказать, в последнее время ведет себя в Конуре слишком по-хозяйски. Ей нужно выйти замуж, как Тане, родить писклявого младенчика и найти счастье в пеленочно-кастрюльном царстве. Да минует ее длинная рука очередей за зеленым горошком в банках! Бог с тобой, Наташа, я отпускаю тебе все твои грехи, а ты не мешай мне идти к правде. Прощай и будь, пожалуй, благословенна! Прощайте и вы, мои случайные родители. Я прощаю вас, если хотите. И ты, Днепр под бугром, прощай, хрен с тобой! И вы, приятели, прощайте, будьте здоровы и не кашляйте! Я больше ничего не боюсь, потому что я свободен.

Прощайте все.

Лошадей! Вадим Соловьев высылается!



## 2. ЗИМНИЙ ВАЛЬС. ВЕНА

Серьезность минуты приземления на Западе была нарушена: как только в иллюминаторе качнулся венский аэродром, в памяти Вадима Соловьева возникла прозрачная мелодия штраусовского вальса. Это было несерьезно, или недостаточно серьезно, — но Вадим ничего не мог с собой поделать. Тра-ля-ля — ля!.. И рессорная коляска, запряженная четверкой лошадей, плавно катится по аллее Венского леса. Тра-ля! Мелькают древесные стволы, кружатся кроны, меж их ветвями развешаны, как носовые платки для просушки, обрывки наивно голубого доброго неба. Покачивается шелковый цилиндр симпатичного кучера, знающего толк в пиве, сосисках и духовой музыке. Боже мой, это Вена! Видение вальсирующего леса подчеркивает неправдоподобность происходящего: три часа тому назад — стывшее, заваленное грязно-желтыми сугробами Шереметьево, востроглазые и наглые агенты в штатском, обыск перед посадкой в самолет. И потом этот прыжок, этот перепрыг из сырого, крытого серым низким небом мира в мир воздушного вальса в солнечном лесу. Какие

аккуратные домики там, внизу, какой чистый и славный аэродром!

А Наташа — что ж Наташа! В конце концов, в комбинации из двух человек одному всегда хуже, чем другому. Наташа поплакала и осталась. Будет другая Наташа. Ясно ведь и ребенку, что нельзя связывать себе руки в этой новой жизни там, внизу, — в жизни, в которую и ринулся-то ради, действительно, великой задачи. Не перед Наташей следует теперь оправдываться, а перед этой новой жизнью — талантливо и дерзко. Надо атаковать с первого же шага, прямо с аэродрома. И есть уже, как говорится, плацдарм: газета "Орор" напечатала заметку, что Вадима Соловьева выслали. Правда, назван он там Владимиром и сказано про него — диссидент и поэт, вместо Вадима и прозаика, — но это ведь не более, чем досадное недоразумение. Надо будет дать в Париже интервью, объяснить все толком. А то эти западные люди относятся к русским проблемам немного поверхностно.

Самолет вошел в тучу, люди вцепились в подлокотники кресел: трясло. Вадим отвернулся от иллюминатора, огляделся. Полтора десятка московских евреев сидели в хвосте, кучкой. Гордые, мужественные люди! Он-то, Вадим, выслан. А они? Они по собственной воле едут в маленькую воюющую страну, где каждый день бомбы рвутся на улицах. Их, говорят, завтра же по приезду забирают в армию, они могут погибнуть. И все же — едут! Вот этот парень с длинным подвижным лицом — он, наверняка, ученый, может, даже кандидат наук. Теперь ему придется сидеть в окопе. "Иван воюет в окопе, Абрам торгует в рабкопе". Нет, не так все

просто! Если б Вадим был евреем, он, может быть, тоже поехал бы воевать в Израиль.

Самолет, притормаживая, уже катился по посадочной полосе. Гомонили пассажиры, отстегивая привязные ремни. Гладкосерое здание аэропорта уверенно возвышалось на краю поля. По фасаду здания, на высоких флагштоках, туго полоскались и стреляли на ветру флаги.

Автобус подъехал к самому трапу. Вадим с внезапной признательностью рассматривал чистый, просторный, сверкающий никелем, пластиком и фальшивой кожей салон автобуса. Непыльно они, как видно, здесь живут, на Западе! Монголов на них нет, между нами говоря, или вот хотя бы наших русаков. Пролетариев пилы и топора из какого-нибудь Храповецкого леспромхоза Архангельской области. Они б им тут показали чистоту и порядок. Шоферюга-то один чего стоит! Профессор! Фуражка адмиральская!

У входа в аэропорт расхаживал взад-вперед высокий лысоватый мужчина со стриженной бородкой, в теплом плаще. Лысач, как видно, расхаживал здесь недолго и не успел еще продрогнуть: плащ его был расстегнут, кашне болталось на шее.

— Пожалуйста, господа! — сказал Лысач по-русски, с приятным акцентом, когда автобус остановился. — Проходите в зал и садитесь.

Но садиться никто не стал, все толпились и глазели по сторонам, хотя ни стены зала, ни пол, ни потолок ничем не были украшены.

— Подходите ко мне по одному, с визами! — пригласил Лысач, устраиваясь у маленького столика, рядом с колонной.

Никто, однако, не двинулся из толпы. Люди гляде-

ли на Лысача недоверчиво и с опаской. Наконец, кто-то спросил:

— А вы — кто?

— Я — представитель Сохнута — Еврейского агентства, — терпеливо объяснил Лысач. Его, как видно, нисколько не удивила и не покорила такая недоверчивость московских евреев. — Я оформлю здесь ваш багаж и отправлю вас в гостиницы... Вот вы, — он поманил длиннолицего кандидата наук, — подойдите, пожалуйста! Дайте мне вашу визу!

— Зачем? — рывкнул Кандидат. — Я еду в Штаты. Как это — отдать визу! А я с чем поеду!

— Не кричите так! — Лысач невесело усмехнулся. — Здесь не принято кричать на аэродроме. Вы поедете, куда хотите, и визу у вас никто не отбирает... Господин Бернандинер? Хорошо... У вас есть родственники в Израиле?

— Я не еду ни в какой Израиль! — подавшись назад, к толпе, объявил Бернандинер. — Я законы знаю! Вы не имеете права!

— А я вас и не везу, — усмехаясь уже скорбно, сказал Лысач. — Я вас только спрашиваю о родственниках.

— Нет у меня родственников, — отрезал Бернандинер. — Тетя у меня есть в Чикаго, родная тетя.

— Когда она уехала из России? — спросил Лысач, отмечая что-то в блокноте. — По израильскому вызову?

— Нет-нет, — сказал Бернандинер, снова подходя поближе. — Она уехала после революции, точно не знаю когда. У меня даже фотография есть.

— Не надо! — отмахнулся Лысач. — Берегите фотографию, а то тетю не признаете... Следующий, пожалуйста! Куда вы направляетесь?

— В Штаты... У меня, видите ли, все друзья в Штатах, все великолепно устроены... — аккуратный стари-

чок в синей беретке услужливо протягивал визу Лысачу. — Я сам преподаватель английского языка, всю жизнь проработал в школе. Я вот с сыном, жена осталась в Москве. Сыну семнадцать лет, я его еле увез от той армии... Вы ведь сами понимаете... На моем месте...

— Следующий!

— В Австралию. Всю жизнь мечтал об Австралии, даже сам не знаю, почему. Мечтал — и все. Динго, кенгуру. Голубая мечта, можно сказать.

— Сколько вам лет?

— А что? Двадцать восемь. Я с семьей: жена, пацан. У нас в Москве отдельная квартира была, в Жеребково.

— Ваша профессия?

— Рубильщик мяса. Тоже могу на мотоцикле ездить. Я-то устроюсь, я за это спокоен... Вопросик можно задать?

— Ну?

— В Австралии дом сколько стоит? Чтоб с газоном, с гаражом.

— Следующий...

Следующим был Вадим. Он подошел с неловкостью, ему хотелось сказать Лысачу: "Я не рубщик мяса. Я — в Израиль, в окопы".

Лысач глядел вопросительно.

— Я — русский... — сказал Вадим совсем тихо, как бы извиняясь.

— Ну, ничего, — сказал Лысач и подмигнул дружелюбно. — Бывает... Налево проходите, пожалуйста.

Вадим шагнул к Рубильщику и к старику в беретке.

— У тебя, папаша, водка есть? — спросил Рубильщик, наклоняясь к старику в беретке.

— А я не пью, — приветливо осведомил Беретка.

— Так я тебе пять бутылок дам — пронесешь? — попросил Рубильщик. — А то у меня десять, а они тут норму установили, гады. Свобода называется!

— Какую норму? — заинтересовался Беретка.

— Такую! — объяснил Рубильщик. — Очень даже простую: три бутылки на рыло населения. А водка тут идет по сто шиллингов бутылка, вот и считай сам. Коммель называется... Ты не сомневайся, дед, я тебе двадцатничек тоже подкину! Ну, берешь?

Беретка склонен был согласиться — то ли по доброте душевной, то ли для того, чтоб отделаться от напористого Рубильщика.

Длиннолицый Бернандинер поглядывал на договаривающихся снисходительно; он, казалось, был не вовсе чужд венско-водочной проблемы, но ставил себя выше ее: поближе к икре, которая шла по две сотни этих самых шиллингов.

подавшись в сторону, Вадим старался держаться независимо: ему было неприятно, что в его спортивном бауле, составлявшем весь его багаж, находилась, наряду с другим имуществом, принесенная одним из приятелей на прощание бутылка "Столичной". Он с радостью подарил бы эту бутылку симпатичному Лысачу с грустной бородкой.

А сортировка эмигрантов тем временем продолжалась. "Налево, налево, налево" терпеливо указывал Лысач. К Рубильщику и Беретке присоединилась молодая пара с двумя детьми, брякающий медалями хромой старик в потертой пыжиковой шапке, женщина средних лет с эмалированным ведром, стайка озабоченных молодых парней с раздутыми портфелями и девушка с красивым, чистым лбом под гладкозачесанными на прямой пробор блестящими черными волосами.



— Ну, вот и все, — закончил свою работу Лысач из Еврейского агентства и сунул в карман плаща стопку советских выездных виз. На столике перед ним осталась лежать раскрытой одна виза. Ее обладатели — старик лет семидесяти пяти и его старуха, грузная женщина в залосненном на груди черном зимнем пальто — ехали в Израиль. Оттертые шустрыми эмигрантами, они оказались в самом хвосте очереди и теперь вот стояли, терпеливо и молча, глядя на беспокойную левую группу без осуждения и без грусти, и без всякого иного чувства в старых глазах. Так они смотрели бы, наверно, на пожар синагоги или на депортацию в концлагерь — не в силах помочь, не в силах противодействовать.

— Вы все идите к багажному отделению и ждите меня там, — сказал Лысач, повернувшись к левой группе, и люди пошли, как стояли — плотной кучкой, толпясь и толкаясь. Только Вадим со своим баулом шагал чуть в стороне. — Теперь вы... — Лысач наклонился над стариковской визой. — Кто у вас в Израиле?

— Никого, — выпростав шею из вязаного шарфа, сказал старик. — У нас нигде никого нет.

— Сейчас я отправлю вас на нашу базу, — сказал Лысач, складывая визу и опуская ее в другой карман плаща. — Завтра вы будете в Израиле... Пойдемте!

Держась друг за друга, старик со старухой двинулись к выходу. Медленно и осторожно передвигая ноги по сверкающему мраморному полу, они шли сквозь высокий, светлый и пустой зал аэропорта.

У багажного отделения озирались уже почти весело.

— Вот и вырвались...

— Смотри, какие коляски! Для чемоданов, что ли? У нас бы в два счета сперли.

— Не лупи глаза-то! Заграница, все же.

— Вон киоск. Почем, интересно, тут курево?

— А вон там шнапс продают. Гляди-ка, и колбаса копченая! И сардельки! Пошли, поглядим?

Но разбредаться по залу робели, держались кучей. Лысач явился скоро, оглядел толпу, сказал:

— Вы поедете в гостиницу на три-четыре дня. Возьмите с собой самые необходимые вещи. У кого есть водка — по две бутылки на человека, и по бутылке шампанского. У кого икра — по одной маленькой баночке.

Толпа загудела недовольно.

— А почему, собственно говоря? — выступил на полшага Бернандинер. — Мы, в конце концов, свободные люди. Даже русские не ограничивали нас двумя бутылками. Это просто произвол!

— При чем тут русские! — терпеливо усмехаясь, объяснил Лысач. — У австрийцев свои законы. Вы, скажем, не пойдете — а другой пойдет спекулировать беспощинной водкой или икрой. Понятно?

— А если у меня день рождения? — предположил Рубильщик. — Я, может, день рождения хочу устроить! Гости придут — что будем пить?

— День рождения? — поморщившись, переспросил Лысач. — Где ваш багаж?

Рубильщик указал на два чемодана и картонный ящик.

— Откройте-ка ящик! — потребовал Лысач.

Рубильщик споро распутал веревку. В ящике, переложенные бумагой, посверкивали водочные бутылки.

— Вот, — сказал Рубильщик. — Нет у меня шампанского.

— Сколько тут? — спросил Лысач.

— Двадцать поллитров, — удостоверил Рубильщик.

— И вы все это хотите тут выпить? — наклонив голову к плечу, спросил Лысач.

— А чего тут пить-то? — махнул рукой Рубильщик. — Еще не хватит...

В толпе поощрительно засмеялись.

— Вы успеете продать вашу водку в Риме, — подвел черту Лысач. — Возьмите две бутылки, все остальное сдайте в камеру хранения. Целее будет. Икра есть?

— Мечу я ее, что ли? — бурчал Рубильщик, увязывая ящик. — Тоже, свобода называется: выпить нельзя!

Икра обнаружилась в чемодане Рубильщика. Баночки были бережно упакованы в шерстяные носки.

— Теща подбросила, — нашелся Рубильщик. — Под каруселю меня хотела подвести, сучья хрычовка! — И, разогнувшись над чемоданом, добавил, мстительно глядя на Лысача: — Ни пить, ни кушать не дают. Вот тебе и Запад! Я брату напишу в Кишинев, чтоб сюда не ехал, сидел бы дома.

— Пишите, пишите, — не огорчился Лысач. — Пускай сидит... Пойдемте, господа, в автобус!

Вадим к разговорам этим прислушивался вполуха. Стоя у стеночки, он придирчиво и жадно разглядывал людей в зале — кто они: австрийцы ли, американцы или французы. Хорошие, наверно, люди — спокойные, уверенные в себе. А как свободно держатся в международном аэропорту, на границе! Жаль только, что ничего они не знают про него, про Вадима, и нет им покамест до него никакого дела. Ну, ничего. Пройдет месяц-другой — и узнают. Да прочти они даже его "Желтую палатку", — и то не стали бы тут разгуливать так

беспечно! Надо, пожалуй, сначала напечатать ранние вещи, а потом уже грохнуть "Мощами". Главное — не забывать ни на миг о том, что предшествовало этому самому перелету Москва—Вена: вызов в КГБ, смерть собаки у ворот. Высылка. Розовый московский дворик сегодня утром, перед тем, как сесть в такси и ехать в Шереметьево. Впрочем, он был серым, этот дворик. Ну, конечно, серым. Не прошло и дня — и уже розовый. Просто смешно! Не хватало только вспомнить про березки и прочую пошлятину.

За широкими — шире обхвата — окнами автобуса мелькали в уютных сумерках приземистые дома. Улицы были чисты и малолюдны.

— А у нас в Черкизове улицы шире, — услышал за спиной Вадим. Говорила, обращаясь то ли к соседу, то ли к самой себе, молодая брюнетка с блестящими волосами. — И фонарей больше — светло.

Вадим отвернулся, нахохлился, уткнулся в стекло. Фонари! Это какие-то другие евреи. То они про водку с икрой, теперь вот про черкизовские фонари. Не хватает только березок да горелок. Что дались им эти березки, если ему, русскому писателю Вадиму Соловьеву, они представляются не более чем расхожим деревом, годным разве что на табуретки да на топку!.. Он, Вадим, знал других евреев там, в Союзе. Водку они пили, икру не ели, потому что она была очень дорогая или вовсе ее не было. То были умные и начитанные люди, и это в какой-то степени даже определяло их национальную принадлежность: раз еврей — значит, начитанный и умный, не в пример какому-нибудь Ванюхе черкизовскому. И вот, пожалуйста! Эта гладко-волосая еврейка готова, кажется, расплакаться, вспоминая свое Черкизово! Вадим вспомнил Днепр, текущий под бугром, и грустно ухмыльнулся в воротник

куртки. Свет, вода. Символы, черт их подери. Человеку надо чему-нибудь поклоняться — хоть куску дерьма, надо над чем-то лить слезы и за что-то умирать. "За родную березку я пойду умирать". "Да здравствует вождь и учитель товарищ Сталин". А поклоняться идее просто невозможно — у нее нет запоминающихся с первого взгляда сталинских усов. А вот товарищ Брежнев, загони он обратно в лагеря миллиончиков десять, мог бы, пожалуй, стать замечательным вождем — у него для этого подходящие брови. "За родимые брови я пойду умирать". Символы для кретиноидов. Впрочем, ведь все дети рождаются гениальными, за исключением клинических случаев. Значит, символы для окретиненных. Интересно, есть у австрийского президента, как его там, выдающиеся брови? Или усы? Человек без особых примет не может стать вождем. Ликующие массы народа не примут его всерьез, если он не будет знаменито носатым или даже кривым. Ну, на худой конец можно распустить слух, что диктатор обладает титаническими гениталиями — это, несомненно, сразу делает его героем в глазах соотечественников. И вот такой псевдогенитальный вождь и герой может объявить и выиграть войну, перекроить географическую карту, заставить народ поверить в то, что земля не круглая, а квадратная и, в конце концов, въехать в историю на танке, в белом спортивном автомобиле или на орловском рысаке в яблоках. Кто же делает эту самую залистанную, замызганную Историю в золоченом кожаном переплете? Вождь? Народ? Или случай?

Автобус мощно, без толчка затормозил у старого трехэтажного дома. Дверь была заперта, и шофер, подойдя первым, нажал кнопку звонка, а потом нетерпеливо постучал в стекло согнутым пальцем. За-

гремела задвижка, клацнул замок и дверь отворилась в зябкую полутьму вестибюля. В дверях стояла женщина лет сорока, малого роста, полная сытой здоровой полнотой. Круглое, еще красивое южной базарной красотой лицо портили золотые зубы, выглядывавшие из-под верхней, вздернутой губы, густо и сочно намазанной помадной краской. В одной руке эта женщина держала длинную коричневую сигарету, в другой — связку ключей на веревочном кольце.

— Заходите, мои дорогие, — сказала она, отступив в вестибюль. — Меня зовут мадам Маня. Если тут есть кто из Одессы, так они, может, меня знают.

Эмигранты толпились в вестибюле, разглядывая мадам Маню. В распахнутой кацавейке, со связкой ключей, в нетопленном вестибюле грязной гостиницы она более всего была похожа на бандершу.

— Что ж вы тут стоите, как неродные! — мадам Маня всплеснула руками, а потом прижала их к груди, вразлет расправившей кацавейку. — Проходите ж в коридор, там стулья и можно посидеть! А я вас пока перепису.

В коридор выходила кухня, к ее двери было припилено рукописное объявление: "В кухне курей не варить, а только кашу для детей".

— А если у меня нет детей? — пожав плечами, хмуро спросил Бернардинер, обращая, однако, свой вопрос не к мадам Мане, а к Рубильщику.

— Родина прикажет — настругаем! — подмигнул Рубильщик. — А насчет курей, так ты не бойся: мы с этой мадамой поладим. Были б только куры...

Устроившись вдоль стеночки коридора, эмигранты не без тревоги наблюдали за мадам Маней, пытливо, шаг за шагом оглядывавшей новосельцев. В этом новом мире, где почему-то нельзя было варить кур,

она представлялась им начальницей, от которой в определенной степени зависела их дальнейшая судьба. С лысоватым сохнутчиком на аэродроме можно было безбоязненно ругаться, можно было на него кричать — потому что он был явно лишним на их пути и следовало от него поскорей освободиться, как от досадного препятствия, от него и от его Израиля — и перейти в другие руки, в руки вот этой мадам Мани. Ни в коем случае нельзя ее раздражать, нельзя с ней ссориться. Наоборот, желательно ей понравиться с самого порога, быть может, подарить ей что-нибудь — бутылку водки, янтарные запонки, расписную матрешку или льняную простыню. С начальством надо уметь ладить, и это дело непростое, требующее сноровки и опыта. Но вот поладили же с сердитым начальником на русской таможне — кто колечком, кто бутылкой водки или красненькой. И с поляком в белых перчатках поладили, хотя он кричал и требовал доллары, а на рубли сначала и глядеть не хотел. Ну, сохнутчик не в счет, Бог с ним — какой он им начальник! А теперь вот мадам Маня, хозяйка. Захочет — даст комнату, захочет — поселит в коридоре. А, может, и с Америкой посодействует, чтоб поскорей в Штаты попасть: известно ведь, что одни год сидят ждут, а другие только месяц один. А — почему? Потому что всякий человек хорошее отношение любит, хоть мадам Маня, хоть американский консул в кабинете. Ну, до консула высоко, а и большая-то машина на маленьких винтиках держится, вот на таких вот мадам Манях. И они смазки требуют перво-наперво... Нет, с мадам Маней портить отношения нельзя, даже если совсем в кухню не ходить и грызть по своим углам сырую картошку.

Это было ясно и Рубильщику, и Бернандинеру, и той гладковолосой девушке из Черкизова.

Понимал это и Вадим Соловьев, державшийся особняком от кучи, между коридором и вестибюлем, словно бы делая тем самым намек, что пребывание его здесь — случайное и кратковременное.

Меж тем мадам Маня, переписав эмигрантов, отперла ключом из связки большую комнату в конце коридора и объявила:

— Теперь будет беседа...

Комната для бесед была нежилой; там стоял низкий журнальный столик, три кресла, диван с высокой спинкой и старый радиоприемник "Филиппс".

Первым мадам Маня вызвала Бернандинера.

— Ну, как доехали? — ласково глядя на Бернандинера, осведомилась мадам Маня. — Что у вас есть на продажу?

Как бы припоминая, Бернандинер морщил широкий желтоватый лоб.

— А что бы вас интересовало? — спросил Бернандинер.

— Ну, камушки, — объяснила мадам Маня. — Может, колечко какое от мамы осталось. Янтарь тоже можно. Шампанское, икра. Сигареты американские взяли в самолете? Так я куплю.

Бернандинер знал очень хорошо, когда следует спешить, а когда — проявлять выдержку. Янтарь он намеревался придержать для римского базара, камушков у него не было, колечко носила оставшаяся в Москве мама, а американские сигареты он хотел выкурить сам. Поэтому мадам Маня, получив по дешевке коробку кубинских сигар, потеряла интерес к Бернандинеру.

Зато с гладковолосой девушкой ей повезло больше:



не возражая и не торгуясь, девушка сняла с тонких розовых мочек коралловые сережки.

— Брошки нет, деточка? — пряча сережки в карман кацавейки, спросила мадам Маня. — Такая красивенькая деточка, прямо удовольствие посмотреть.

Брошки не было, и девушка, казалось, готова была попросить за это прощения у мадам Мани.

— Ну, ничего, — утешила мадам Маня. — Я тебя познакомлю с роскошным кавалером, он сам тоже бывший русский. У него магазин в Берлине, он поведет тебя в ресторан. Все хотят немножко повеселиться за свои деньги, запомни это, деточка!

Вадим вошел в комнату третьим. Мадам Мане не понадобилось много времени, чтобы определить, что у него нет ничего: ни янтаря, ни американских сигарет. Узнав, что Вадим — русский, мадам Маня очень обрадовалась:

— Лично я люблю русских, — сказала мадам Маня, — что бы мне там ни говорили. С вами можно делать дела. А что вы пьете — так сейчас все пьют. Мой муж, чтоб он сгорел, тоже пьет. А у него, между прочим, язва желудка и ему нельзя.

— А где тут Толстовский фонд? — тоскливо спросил Вадим. — Мне, наверно, туда нужно...

— Это завтра, деточка, — сказала мадам Маня. — Я дам тебе койку, и завтра ты пойдешь себе... Позови мне следующего!

После беседы с мадам Маней слегка облегченные эмигранты разошлись по отведенным им комнатам. Вадиму — человеку несемейному — досталась коечка в тупике коридора на втором этаже, за занавеской. Он спал беспокойно и проснулся до света.

Мадам Маня, напротив, спала без сновидений до восьми утра. Она спала под китайским пуховым оде-

ялом, крытым лазоревым шелком, в тесной комнатке на первом этаже, загроможденной выторгованным у эмигрантов ходовым товаром. В комнатке было тепло и пахло жирной таллинской килькой пряного посола.

Мадам Маня считала себя удачливой женщиной, не обойденной счастьем. Ей, действительно, будет житься легко еще четыре с половиной года — до дня помещения в тюрьму города Гонконга, где она умрет от последствий сифилиса на пятьдесят втором году жизни.



### 3. МИР СЧАСТЬЯ ЗАХАРА АРТЕМЬЕВА

Горячие каштаны грели пальцы сквозь бумажный кулек, и это было необыкновенно приятно, если вдуматься. Захар Артемьев не спеша очистил каштан и опустил скорлупу в карман старого плаща цвета сырого песка. Плащ был изношен, висел мешком и грел слабо, а, вернее, и вовсе не грел — зато длинный вязаный шарф можно было обернуть вокруг шеи и спрятать в него лицо до самого носа; носовое дыхание, направленное в складки шерстяного шарфа, давало дополнительное тепло. Не было, правда, перчаток — но, купленные даже на Картнерштрассе, перчатки за пятьсот шиллингов не дали бы такого приятного ощущения домашнего тепла, как вот этот кулек с каштанами.

Размышляя таким образом и жуя горячий мучнистый каштан, Захар был счастлив. Прежде чем отвлечься от своего счастья и обратить внимание на Вадима Соловьева, разыскивавшего вход в контору Толстовского фонда, Захар успел подумать о том, что клиенту перчаточного магазина на Картнерштрассе ведомы, наверно, иные радости — удачливая бирже-

вая игра или урчание нового мерседеса, и что он, постоянно теплорукий, никак не притязает на мир его, Захарова, счастья. Бог с ним, игроком и автомобилистом.

— А вам сюда, — сказал Захар, увидев озирающегося по сторонам Вадима Соловьева со спортивным баулом. — Берите каштан, он теплый.

— Вы тоже — оттуда? — спросил Вадим, опуская баул на землю.

— Из Ленинграда.

— А я — из Москвы, — сказал Вадим. — Вчера прилетел.

Захар не удивился. Ну, вчера — так вчера.

— Я здесь уже полгода, — сказал Захар. — У нас на втором этаже комната сдается, можно снять. Сейчас здесь оформитесь — и можно поехать посмотреть. Ехать, правда, далеко: на трамвае, потом на автобусе.

Оформление заняло не более получаса, но и эта проволочка показалась Вадиму чрезмерной: ему хотелось шагать по улице в редакцию толстого журнала, или говорить с понимающими приятелями о Кафке и Джойсе. Жаль было времени, Вадиму просто не стоялось на месте. Доброжелательные расспросы фондовского чиновника о родителях и о нехватке продовольствия в Москве только раздражали его... Захар, напротив, сидел в углу комнаты совершенно спокойно; время, казалось, вовсе не существовало для него, он никуда не спешил и не имел никаких планов. Положа крупные, костлявые кисти рук на колени, он вдумчиво глядел на предметы случайной конторской мебели, словно бы дружески упрекая их за молчание.

В трамвае, в уютной тесноте вагона, Захар разговорился. Он рассказывал о каком-то своем приятеле, ро-

дом из Вышнего Волочка, художнике-самоучке, составляющем рельефные картины из печеного хлеба. Преследуемый властями за любовь к свободе и правде, художник поселился теперь в глухой приозерной деревне и живет там в брошенной баньке, на птичьих правах. Он мечтает эмигрировать и присоединиться к Захару в Вене, но вызовы из Израиля не доходят до него в его захолустье. С фотографии, которую показал Захар, глядел симпатичный длиннорукий парень, прислонившийся к стене кособокой баньки. Рядом с парнем стояла, улыбаясь и щурясь от солнца, молодая простоволосая женщина с ребенком на руках.

— Я у них там был с Мышей, — сказал Захар, убирая фотографию во внутренний карман плаща. — Перед самым отъездом. Очень хорошие они люди, им в Совдепии тяжело приходится.

Он потом еще несколько раз упомянул женщину по имени, то ли по прозвищу Мыша, — скорее, по прозвищу. Вадим знал ребят, называвших своих женщин — Мыша, Мышка. То были хорошие, добрые ребята. Сам Вадим не стал бы, пожалуй, так называть своих подруг.

Выехали за город, когда Захар определил, что едут они не в ту сторону. Это его не огорчило, а как бы позабавило: вот, мол, интересно-то — не в ту сторону! Но он тут же осек себя, участливо потянулся к Вадиму верхней частью длинного плоского туловища:

— Вы ведь, наверно, устали! Как же это я так...

— Давай уж на "ты", — сказал Вадим, ухмыляясь неизвестно чему. — Успеет, сегодня все равно день пропал...

— Нет-нет! — живо возразил Захар, слезая с подножки на перрон. — Ничего не пропал! Слышишь,

как лесом пахнет и снегом? Это — Грюнциг, вот мы, оказывается, куда заехали. А так бы, может, и не пришлось бы побывать. Смотри, какие кабачки! Давай постоим здесь немного.

— Давай... — без подъема согласился Вадим и опустил сумку в снег. — Правда, хорошо.

— Да и у нас хорошо, где я живу, — сообщил Захар, пряча подбородок в шарф.

— А куда вы едете? — спросил Вадим с интересом. — В Штаты?

— Да я и сам не знаю, — пожал плечами Захар. — Мне все равно. Нам с Мышей здесь тоже очень нравится.

— Так вы здесь хотите остаться? — уточнил Вадим.

— Вряд ли выйдет, — без печали сказал Захар. — Австрийцы эмигрантов почти не берут, тем более если профессии нет никакой.

— Да, без профессии, конечно, тяжело, — машинально согласился Вадим, думая о своем. Его немного познабливало. — А ты, значит, без профессии?

— Без, — сказал Захар беспечно. — Но это ведь как взглянуть: быть, скажем, стукачом — профессия? А — Эйнштейном? Или Папой Римским?

— А если ты, скажем, писатель? — вскользь поинтересовался Вадим.

— Писатель — это надпрофессия, — убежденно сказал Захар. — Хороший писатель.

— Ну, так... — согласился Вадим. — Слушай, Захар, тут в трамваях печки, что ли, в сиденьях стоят? Как ехали — задницу здорово пекло.

— Да, — сказал Захар. — Печки.

— Ну, молодцы австрийцы! — одобрил Вадим. — Надо же было придумать!

— А ты замерз, — озаботился Захар. — Ехать надо.

- Знаешь что, - сказал Вадим, - давай-ка зайдем вот сюда. У меня доллары есть. Ты по-немецки умеешь?

- Чего там уметь! - уклонился Захар. - Закажем сосиски и по стакану вина.

В кабачке оказалось шумно, пьяновато. Поблескивали отшлифованные локтями коричневые дощатые столешницы.

- А я, знаешь, писатель, - усевшись за стол, сказал Вадим и взглянул на Захара как бы выжидающе.

Захар с удовольствием потянул носом - остро пахло соленьями, сушеным мясом цвета красного дерева, сухим вином.

- Хорошо... - сказал Захар и улыбнулся улыбкой мгновенно счастливого человека. - Так ты, наверно, понимаешь, что такое чудо.

- Я в чудеса не верю, - сухо сказал Вадим, ожидавший более горячей реакции на свое сообщение. Странный, все-таки, парень этот Захар. Фамилию спросил бы, что ли.

- Можно и не верить, - охотно поддержал Захар. - Главное, это понимать: вот чудо, и вот - чудо.

- Ну, например, - сказал Вадим. - Пример можешь привести?

- Жизнь! - доверчиво и охотно объяснил Захар. - Мы живем, и это чудо... Капля слезы в мешочке - это глаз, он видит. Косточки какой-то огрызок в черной дырке - слышит! И вот смотри-ка: "Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием" И не обязательно человека бить палкой, чтоб ему стало больно, и не обязательно дать ему кусок сахару, чтоб ему стало сладко. и сладость и боль внутри нас, и другие всякие вещи, какие ты только хочешь.. Вот это и есть - чудо!

- Да никто и не спорит - сказал Вадим, тихонько

двигая по столу высокий стакан. — Я тоже не верю, что обезьяна слезла с дерева без поддержки Господа Бога... Скажи им, чтоб они горчицу дали.

— Здесь горчица слабая, — Захар помахал рукой официанту. — А вино — просто прелесть.

— Чудо? — спросил Вадим не без ехидства. — Маленькое чудо? — его злило, что Захар так и не спросил, как его, Вадима, фамилия и что он в жизни пишет.

— Чудо нельзя измерить, — облепив стакан длинными, гибкими пальцами, Захар плавно покачивал в нем медового цвета, с искринками вино. — Я, во всяком случае, не умею. Да и зачем это надо?.. А вино — нет, пожалуй, не чудо. Просто, когда пьешь такое вино, тебе хорошо и приятно.

— Как же, как же? — вдруг загорячился Вадим. — Ты же сам себе противоречишь. Ты сказал, что не обязательно человека сахаром сладить, есть в нем врожденная, вечная, что ли, и сладость, и горечь...

— Ну да, — сказал Захар и, взглянув на Вадима покойно, медленно прижмурился. — Так ведь человек потому и человек, а не волк, что противоречив. Будь мы не противоречивы, мы и чудо приладились бы сантиметром замерять, как ситчик на прилавке.

— М-да... — неопределенно протянул Вадим. — Меня вот не посадили, а выпустили сюда, и это, пожалуй, чудо.

— Не чудо, — уверенно определил Захар, и качнул рукой, и вино чуть ни пролилось. — Сочетание обстоятельств, расчет — но только не чудо. Чудо — это дело духовное, не внешнее.

— А! — досадливо свел брови и отмахнулся Вадим. — Сошлись славяне в Вене, за стаканом вина, и сразу — о чудесах и о духе.



— При чем тут славяне? — тихонько поправил Захар. — Христиане!

— Ну, ладно, — устало согласился Вадим. — Христиане. Я, вообще-то, неверующий.

— Все дело в том, — словно бы не слыша, продолжал Захар, — как человек себя понимает, кто он: отблеск Бога и вселенная — или ничтожный червь.

— Червь, — сказал Вадим убежденно. — Ничтожный червь, состоящий из мяса, из костей и из дерьма. Червь, по глупости вообразивший себя вселенной.

— А как же душа? — живо, как бы делая удачный, подготовленный ход, возразил Захар.

— Да ладно, — Вадим нахохлился над стаканом, глядел тяжело. — Душа... Что мы знаем о душе? А об этом, о червяке — что знаем? Мы даже не знаем, кто он такой — червяк или отблеск Бога. — Вадиму вдруг сделалось сонно, одиноко и почти страшно, ему захотелось в свою берлогу — московскую или какую другую, — чтоб можно было запереть дверь, заварить покрече цейлонского и сесть за машинку. — Ты прав, прав, — сказал он Захару, едва ворочая языком. — Я просто устал. Ведь первый день.

— Да, поедем, — сказал Захар. — Я думал, тебе интересно будет здесь.

— Возьмем такси, — сказал Вадим.

— Очень дорого, — сказал Захар. — Но давай возьмем, если хочешь.

Ехали долго, молча. Окраинная Вена сделалась как бы уже и не Веной, а сырым каким-то, случайным и скучным городом, пересадочным пунктом без вальса и кучера в цилиндре. Глядя в окно, в экономно подсвеченные фонарями тяжелые сумерки, Вадим злобно усмехнулся: праздник первого дня свободы не получился. С самолета, с птичьего полета все это выглядело

как-то иначе. Все это скопление домов, людей, трамваев и лотков умещалось в одно короткое, катящееся, как обруч по склону, слово *с в о б о д а*. И не было ничего, кроме легкого и звонкого бега этого самого обруча, его бега по зеленым дорожкам парка и по серебряному аэродромному полю, по тысячам голубых жилок сделавшегося вдруг свободным Вадимова тела. А вот этого сырого сумрака за окном не было и в помине. И уж, тем более, не было знобящего, как этот сумрак, страха одиночества среди людей, необъяснимого страха человека в ночном лесу. Страх стать через полгода таким, как симпатичный Захар, верящий в чудеса.

— Это наша улица, — сказал Захар. — Вот отсюда она начинается, от моста. А в этом доме тоже эмигранты живут, из Москвы. Художник Гурарий — может, слышал?

— Гурарий? Миша?

— Ну да, — подтвердил Захар. — Мы с ним хорошие приятели, и Мыша...

— Когда ж он уехал? — требовал Вадим, почти привалившись к Захару. — Я ж его видел на Кузнецком...

— Ну, с месяц, — прикинул Захар. — Да, с месяц уже. Я его тоже в Фонде встретил и квартиру эту нашел.

— В Фонде? — переспросил Вадим. — Но ведь он же еврей.

— Он христианин, — мягко поправил Захар.

— А, — сказал Вадим. — А я и не знал.

— Мы к нему зайдем попозже, если хочешь, — сказал Захар. — Он любит, когда к нему приходят... А вот это наш дом, вон наши окна и балкон. Видишь?

Мыша открыла перед ними дверь — молодая, лет двадцати двух женщина с узкой гибкой спиной, с

круглой и нежной линией подбородка, белевшего между двух пластов тяжелых прямых волос, светло-коричневых, свободно падавших, когда она наклоняла голову. Узкие, прямые плечи, вся верхняя часть туловища, утлая, с едва заметными торчащими грудями, была посажена на неожиданно плотные бедра, туго и кругло обтянутые тонкой клетчатой юбкой, ниже которой смугло светились длинные, с тяжелыми икрами и тонкими щиколотками ноги. Домашние туфли на сбитых низких каблуках, опущенные жалким грязно-розовым искусственным мехом, не шли к этим ногам. Хотелось, чтобы эта женщина, Мыша, ступала босиком по чистому линолеуму передней, как по траве или песку пляжа.

Не задержавшись взглядом на хозяйке, Вадим шагнул через порожек.

— Идите сразу на кухню, мальчики, — открыто оглядывая гостя, сказала Мыша. — Чайник как раз вскипел... Или, может, чего покрепче?

— Покрепче, — сказал Захар. — Сыро так на улице.

— Ноги промочил? — спросила Мыша, доставая чашки с высокой полки. — Я сейчас носки дам теплые. — Она тянулась за чашками, привстав на цыпочки и чуть изломившись в поясе, подавшись чуть назад, — так что короткая кофточка, уйдя вверх, открыла поясок светлой кожи над юбкой и начало острого хребтика в голубой ложбинке. — Кислая капуста есть, — перечисляла Мыша, — редиски пучок, сальце. Шнапс в холодильнике — достань, Захар, а? Заварка вот...

— Можно, я сам заварю, — попросил Вадим, цепко разглядывая незнакомую синюю коробку с чаем. — В железном чайнике не годится, лучше прямо в чашках.

— А мы с Мышей от чая отвыкли уже, — с початой бутылкой водки в руке оборачиваясь от холодильника, сказал Захар. — Все кофе да кофе... Но и чаек хорошо попить с холода. Только мне не очень крепкий!

Заливая заварку кипятком, вдыхая сочный аромат английского чая, Вадим почувствовал вдруг медленный, головокружающий прилив покоя, — и с ленивым раздражением подумал о том, что вот придется уходить из этой чистой и светлой кухни, из-за этого стола, покрытого скатеркой в сине-белую клеточку. Он мельком взглянул в окно, в синюю темень — там под ветром щелкали сырыми ветвями голые платаны, черные в свете неблизкого фонаря... Вадим Соловьев отвел глаза от окна и словно бы сразу вернулся в теплую капсулу кухни, в безопасное, защищенное толстыми стенами пространство посреди ночи и посреди мира. Тесная капсула в кровеносных сосудах проводов и труб. Захар и Мыша. Вадим Соловьев.

— Ну, давайте выпьем, — сказал Захар. — Мыша, бери, здесь чуть-чуть.

Мыша выпила свою водку одним глотком, озорно запрокинув назад голову на хрупкой шее. Волосы, упав слоисто, открыли, как что-то недозволенное, мелкие, тонкой и рельефной лепки, какие-то звериные уши.

Не спеша выпил до дна и Захар, и накрутил на вилку моточек кислой капусты.

— Вадим Гурария знает, — сказал Захар. — Еще по Москве.

— Правда? — то ли удивилась, то ли обрадовалась Мыша. — А он звонил как раз, звал зайти. Гости у него.

— Я и не знал, что он христианин, — сказал Вадим,

вспоминая Захарово сообщение. — Странно, все-таки: еврей...

— Я тоже еврейка, — сказала Мыша как бы с вызовом. — По рождению... Какая разница? Ведь не только Иуда был еврей, но, в конце-то концов, и Иисус.

Это такое домашнее, произнесенное с такой сопричастностью "в конце-то концов" как бы оживило, приблизило вплотную ту давнюю иерусалимскую трагедию, словно бы произошла она вчера или третьего дня, все видели ее по телевизору, в Новостях, и теперь вот обсуждают, сидя за вечерним столом, за чашкой чая.

Откинувшись на плетеную спинку стула, прислушиваясь, как медленно разливается в груди тепло от выпитой водки, Вадим представил себе: каменный переулочек, сладко пахнущий жареными в меду орешками. Люди — двести, а, может, и все двести пятьдесят человек, — толпились в переулочке и доброжелательно переговаривались, перебрасывались вежливыми и ни к чему не обязывающими репликами о приятной погоде и о растущих ценах на дрова.

Эти бедно одетые базарные люди, похожие на узбеков и армян, толпились и, не приближаясь, глазели на небрежно щеголеватых операторов телевидения, устанавливающих свои камеры по всему переулочку, из конца в конец, в двенадцати его точках. Отточенные действия операторов и то, как они уверенно хозяйничали, словно бы уже побывали здесь, в переулочке, сотни и тысячи раз, и их серебристые и голубые камеры — все это приковывало внимание толпы и держало ее в неослабном и утомительном напряжении, как перед чудом, которое должно вот-вот здесь свершиться и ради которого и прибыли сюда эти занятые своим делом мужчины в дорогой евро-

пейской одежде... И люди вдоль всего переулка, вдоль его лавок и обжорок, толпились и переговаривались вполголоса, и с охотой ждали чуда, ради которого стоило тащиться сюда с другого края земли, с тяжелыми аппаратами.

Группка, не без усилия втиснувшаяся в переулок, в его исток, вызвала лишь мгновенный интерес: нет, не этого ради. В центре тихо голосащей и воющей группки шагал, таща на спине крест, средних лет рыжеволосый сухопарый человек, на журавлиных ногах. Он шагал неровно, согнувшись в поясе, и крылья креста бились о каменные стены домов переулка. Несколько человек тащились за ним, проводя его, да трое конвоиров лениво теснили народ с дороги. Люди недовольно расступались, отряхали одежду: этот рыжеволосый внес своим появлением некую сумятицу и неудобства, мешал ждать, и многие из толпы испытывали неловкость перед приезжими операторами...

Вадим придвинулся к столу, взял с блюдечка лепесток розового сала.

— А я вот — неверующий, — сказал Вадим. — Это жалко, наверно. — Он взглянул на Захара, потом на Мышу. — Я просто русский. Русак. А, может, хохол. Москвич, одним словом. — Он усмехнулся, полуприкрыв глаза, глядя на блюдечко с салом. — Какое это, вообще, имеет значение?

— Вообще-то, никакого, — согласился Захар, и Мыша кивнула с готовностью. — Это все спесь одна.

— Смешно даже, — вставила Мыша. — Вот Гурарий Миша...

Вадим вдруг почувствовал неприязнь к Гурарию Мише.

— В каждом человеке столько кровей понамешано, — продолжал Захар. — Ну, чукчи какие-нибудь, может,

одни и сохранились. Так что, они от этого лучше или хуже, что чистокровней? Даже, наверно, и физически-то не здоровей.

— Чукчи, — сказал Вадим. — Снег. Переходящее красное знамя за отстрел нерпы... Господи, как все это осточертело!

— А мы уже забыли, — сказала Мыша. — Как будто и не было ничего. И белых ночей — тоже.

— Белые ночи! — с горечью, с болью повторил Захар. — Грибной дождь, грибы, грибной супчик... Ностальгия, — поставив, как стакан на стакан, кулак на кулак, Захар говорил теперь резко, почти зло, — ностальгия — это прикованность животного к своей норе, это страх перед открытым миром. Что может быть общего у человека с деревом или кучей камней?.. Белые ночи!

Он будет зарезан, Захар, через год и восемь дней, за четверть часа до полуночи, в уборной Тель-Авивского аэропорта.

В кухне установилась чуткая кладбищенская тишина, которую не хотелось нарушить голосом или суетливым, шумным движением; только похрипывал, качаясь, маятник старых настенных часов в тусклом деревянном футляре.

— Мыш... — тихонько позвал Захар. — Ты что ж...

Мыша поднялась проворно, сняла с холодильника "Спидолу", включила. Видно, это была ее работа — снимать и включать "Спидолу" в положенное время. Приемник был настроен.

"Передаем сводку погоды, — сообщил диктор. — По сообщению Главного Управления Метеорологической службы, ожидается дальнейшее похолодание. Возможны снеговые осадки, ветер умеренный до сильного. Температура в Москве — минус девятна-

дцать-двадцать градусов, в Ленинграде — минус семнадцать градусов мороза”.

— Ну и холодина, — сказала Мыша и выключила приемник.

Вадим ухмыльнулся.

— Нет-нет, — сказал Захар, отводя внимательный взгляд от динамика. — Ты не думай, это просто так. Интересно, все же — как там погода...

Вадим собрался что-то сказать, но потом раздумал, промолчал. Хотят слушать сводку погоды — что ж, их дело. Сегодня сводка, завтра — супчик этот самый, грибной. Ай-яй-яй, Захар.

— Пойдемте, что ли, к Гурарию, — сказала Мыша и поднялась из-за стола.

Миша Гурарий с женой Верой и маленькой дочкой занимал трехкомнатную квартиру на последнем этаже шестиэтажного дома. Полчаса назад дочка вышла к гостям попрощаться — розовая после ванны, в длинной, до полу, ночной рубашке. ”Покойной ночи! — сказала девочка. — Гуте нахт!” Теперь она спит на своем диванчике, она не встретится нам больше никогда, и нет нужды называть ее по имени.

А гости, растроганно подивившись розовой чистоте ребенка, тут же о нем забыли. Их волновали проблемы собственного будущего, такого покамест неопределенного. А девочка — что ж девочка! Можно ей только позавидовать: она выучит немецкий язык, или какой другой, она выйдет замуж за какого-нибудь местного человека и ей плевать будет на все эти варварские, бессовестные правила, по которым российским беженцам нельзя сидеть в Вене, а нужно обязательно ехать в Рим — хотят они того или не хотят.

Гостей было четверо, две пары: киевляне Ира и



Сеня Повольские и Мещеркины Андрей с Катей, москвичи. Размещались гости в просторной полутемной гостиной, по желтому паркету которой расставлены были вокруг низкого журнального столика тяжелые и громоздкие кресла. Мягкое освещение скрывало потертость и засаленность кресельной обивки.

Вадим с Мишей Гурарием обнимались в передней, гулко хлопали друг друга по спинам: тесен мир, черт дери, кто бы подумал! Да-да, на Кузнецком, против магазина "Овощи", как будто вчера это было... Вера стояла тут же, дожидаясь своей порции объятий. В Москве ни с Мишей, ни, тем более, с Верой Вадим не обнимался никогда. Ему это пришло в голову, когда он обнимал мягкую и теплую Веру; и ему вдруг стало тоскливо, как будто он сам себя обнимал, безвозвратно куда-то отправляясь, в неведомые края.

Гости отнеслись к Вадиму с разным интересом: Мещеркины — со сдержанным дружелюбием, а киевлянин Сеня Повольский — взыскующе, как будто Вадим должен был ему, Сене, нечто весьма существенное, и теперь вот представился неповторимый случай ему, Сене, это нечто получить, хотя бы и с применением буйной силы. Уперев аккуратно причесанную голову в ладонь — большой палец заведен под подбородок, указательный и средний вытянуты рогаткой вверх, к носу, и вжаты в розовые губы, в жесткие рыжеватые усы — Семен Повольский весь нетерпеливо был устремлен вперед, и только эта прижатая к лицу ладонь словно бы удерживала его от рывка и последующего захвата мирного пространства перед ним. Жена его Ира, напротив, сидела в кресле расслабленно и совершенно безмятежно. Она была по-киевски плотно сбита и темные ее, выпуклые глаза имели выражение довольства.

— Знакомьтесь: Вадим, — представил Миша Гура-рий. — Вчера только о т т у д а .

— Киевлянин? — на миг отведя пальцы от губ, отрывисто осведомился Сеня и еще подался вперед.

— Венец, — за Вадима ответил Андрей Мещеркин и медленно взмахнул рукой. — Уже венец. В Вене мы должны чувствовать себя венцами, это самое главное. Так-то, господа.

— Эмигрант ты, — отведя пальцы на самую малость, определил положение Мещеркина Сеня. — Чего выпендриваешься?

— Ах, оставь! — сказала Катя Мещеркина, поворачивая в кресле длинное плоское тело, затянутое в серебристое, из каких-то блестящих чешуек платье. — Выбери, пожалуйста, выражения!

Андрей молчал, снисходительно полуприкрыв глаза и поглаживая пальцем складку тщательно отутюженных брюк.

— Я москвич, — сказал Вадим, прикидывая, где бы сесть — у стола или в углу, на одиноком стуле. — А родился, кстати, в Киеве.

— Кстати, кстати, — утвердил Сеня. — Я на улице Седьмого ноября жил.

— Боже, Днепр! — колыхнулась в кресле Ира.

Она сказала это так, как будто открыла неведомую до толе никому прекрасную правду: по Киеву протекает река Днепр, а не Енисей и не Миссисипи.

— Река как река! — пожал плечами Вадим и решительно направился в угол. — Даже хуже. Не люблю.

— Ну, что вы! — обиделась за Днепр Ира. — А пляж!

— А что пляж? — буркнул с одинокого стула Вадим. — Грязный песок, пустые бутылки... Редкая птица долетит до середины Днепра — если не от вони подохнет, так от тоски. Знаете?

— Боже! — скрипнула креслом Ира. — Какой вы... — она не нашлась, что сказать и молчала укоризненно, вертя на пальце тяжелое обручальное кольцо темного золота.

— Правильно, — несколько нараспев сказал Мещеркин и поглядел на Вадима с новой симпатией. — Совершенно правильно! Прошное следует отрезать, как кусок колбасы. Прошное — враг будущего, для нас, разумеется, в нашем положении.

— Нет! — решительно отверг Сеня, разом гася Андреевы рассуждения. — Будущее надо брать голыми руками — вот так! — он показал — как: резко взмахивая руками и словно бы подгребая к себе дымный и теплый воздух комнаты. — А прошное мне лично не мешает: оно рук не тянет.

— А — душу? — тихонько, как бы и не Семена вовсе, спросил Захар.

— Что — душу? — расслышал, однако, Семен. — При чем тут душа-то? Мы — о серьезных вещах, а ты со своей душой.

— Мальчики, мальчики! — шагнув к столу, вошла в разговор Вера, хозяйка. — Ну, что вы спорите? Налейте лучше!

— Правда, — сказал Вадим. — А вы, — он взглянул на Сеню Повольского, — вы чем занимаетесь?

— Я врач, — сказал Сеня и вновь погрузил лицо в ладонь, как в намордник.

— Зубной, — со сладкой полуулыбкой дополнил Андрей Мещеркин. — В лавке на Мексико-плац дергает зубы туркам и югославам. Без патента и без наркоза.

Сеня не пошевелился, как будто речь шла о другом человеке — его тезке.

— Ну и что ж, что без патента! — с достоинством

отвела удар, нацеленный в мужа, Ира из своего кресла. — Зато у нас очередь вон какая! Потому что мы людей жалеем, не как эти тут...

— Ах, оставь! — подала раздраженный голос Катя Мещеркина. — Наркоз вы жалеете.

— Вот и не наркоз! — возвысила голос и Ира. — Мы полцены берем, если хочешь знать!

— Четверть, — не подымая глаз, дал справку Мещеркин. — Больше не платят.

Тихонько поднявшись со стула, Вадим пошел бродить по комнате. Никто не проводил его взглядом, и никому не было до него дела. Он постоял немного в углу, вглядываясь в темную, золотисто мерцающую изнутри икону над лампадкой, потом перешел к другой, украшавшей стену — яркой, многофигурной. Обогнув комнату по периметру, он остановился перед живописным триптихом "Крещение Иегошуа а-Ноцри", работы хозяина. Иисус был изображен на картине в потертых джинсах хипника, слева на него смотрели волки, а справа — овцы. Русские галки с яростными человеческими глазами летели над Иорданом.

Недоверчиво прищурившись, Вадим миновал триптих и, подойдя к установленной на красных кирпичях книжной полке, взял с нее неожиданно там оказавшийся гуцульский печной изразец. Всадник в зеленых штанах глядел с изразца, всадник с коричневой пикой, в нелепой и прекрасной шляпе с высокой тульей. Всадник радостно улыбался чему-то, а лошадь, напротив, была строга. Художник использовал только два цвета — зеленый и коричневый, и этого было достаточно. Зеленые цветы росли возле коричневых копыт лошади, и коричневые бабочки летали вокруг высокой шляпы всадника.

— Красивая штукавина, — сказал Вадим подошедшему Захару. — У него хорошее настроение, у этого всадника. А у лошади — скверное.

— Если бы лошадь ехала на всаднике, — сказал Захар, разглядывая изразец, — то все было бы как раз наоборот. Но — каждому свое.

— Да, — согласился Вадим Соловьев. — Вот это и паршиво, что каждому — свое.

— Ну, не знаю, — наморщил лоб Захар. — Что можно этому противопоставить? Счастливую судьбу? Или революцию?

— Ничего, — сказал Вадим, с сожалением кладя изразец на место. — Нравится, не нравится — спи, моя красавица... Слушай, Захар! А Мишка Гурарий — он, что, всерьез? — Вадим кивнул на икону. — На стену ведь нельзя вешать.

— Я думаю, что это неважно, — посерьезнел Захар. — И, потом, ведь это дело совести. Не то что на том свете кому-то там придется жариться на сковородке — в это я не верю. Но, если в таком деле обмануть, то на этом свете будет тебя жечь до самой смерти.

— Наказание? — поднял брови Вадим Соловьев.

— Нет, — сказал Захар. — Совесть.

— Смотря когда начнет жечь, — взвесил Вадим. — Может, за день до смерти только начнет.

— Вот в том-то и дело! — тихо и жарко сказал Захар. — Пусть даже за час. Но ведь никто не знает, когда придет смерть — через час, или через год. А если даже и через час — и ты это чувствуешь, угадываешь каким-то странным образом — так предсмертный час промучиться совестью, — это ведь хуже не придумаешь.

— Ладно, — кивнул Вадим. — Пусть Мишка Гурарий

об этом думает... А ты вот говоришь — смерть, и если ее почувствовать. Ты, например — чувствуешь?

— Чувствую, — с готовностью отозвался Захар.

— Ну, и что? — спросил Вадим. — Как?

— Я не знаю, где я умру и как это произойдет, — немного откинув голову и глядя на Вадима из-под полу-прикрытых век, сказал Захар. — Да это и ни к чему... Но меня дотянет лет до семидесяти пяти-восемидесяти. И умру я тихо, ночью. Во сне.

— Неплохо... — пробормотал Вадим. — Это неплохо... Я, черт дери, ничего такого не чувствую. Но я и не хочу: боюсь. Это дело не мое.

— Вот видишь, — сказал Захар. — Ты сам говоришь, что это не твое дело. Это — Его дело.

Вадим Соловьев досадливо поморщился: Катя Мещеркина заговорила громко, почти крикливо:

— Нет, вы только себе представьте! — сказала Катя и задумалась на миг. — Вот сейчас, в эту самую минуту какой-нибудь пастух по имени Ганс абсолютно счастлив и доволен. У него есть все.

— Что именно? — по-деловому справился Сеня Пвольский.

— Ну, все необходимое для счастья! — не задержалась Катя с ответом.

— Абсолютно счастливы и довольны могут быть только дебилы, — буркнул Вадим Соловьев и, шагнув, оседлал свой угловой стул.

— Вот, все же, странно! — подойдя к Вадиму и наклонившись к его плечу, сказал Миша Гурарий. — Сидим в Вене, разговариваем о каких-то пастухах...

— Знаешь, мне тут не нравится, — сказал вдруг Вадим, с тоской наблюдая за тем, как Вера топит в чашках с кипятком заварочные пакетики. — Как в предбаннике: ни холодно, ни жарко.

— Да-а... — неопределенно протянул Миша. — А мы уже, вроде, начинаем привыкать... Ты куда хочешь — в Париж, в Штаты?

— Не знаю, — пожал плечами Вадим. — Мне, в общем-то, все равно. В Париж, наверно: там журналы, печататься можно.

— Прямо в Париж отсюда не пустят, — со знанием дела ознакомил Миша. — Только через Рим. Италию посмотришь: Флоренция, Венеция. И денег платить не надо — тебя везут, ты едешь.

— Липа! — строго поправил Сеня Повольский. — Это липа. И зря ты, Миша, эту липу людям рассказываешь... Во Флоренцию и Венецию поехать — пятьдесят долларов, а коммерческий рейс в Неаполь — двадцать долларов.

— Что это — коммерческий рейс в Неаполь? — брезгливо спросила Катя Мещеркина и серебряно блеснула в темном омуте кресла.

— Такой рейс... — не дал объяснения Сеня и взглянул на Катю Мещеркину озабоченно и немного раздраженно, как взглядывает неимущий и, быть может, даже насытый человек на розовую, в серебристой шкурке семгу в щедро освещенной витрине.

Катя выдержала этот взгляд с совершенным спокойствием, как если бы смотрел на нее не киевский зубной врач Сеня Повольский с Мексико-плац, а его немигающее изображение из песчаника или гипса.

Установилось тягостное, хотя и несколько напряженное молчание. Сидя в своем углу, Вадим Соловьев наблюдал за происходящим в гостиной словно бы из коридора, или из другой комнаты, или даже с улицы, через окно, никем незамеченный; им и не интересовался никто. Переводя легкий взгляд с серебристой Кати на озабоченного Сеню, с лупоглазого Гурария на Анд-

рея Мещеркина, он остановился, наконец, на Мыше. Она сидела вдалеке от Захара, на другом конце комнаты, справа от Вадима. Она сидела как на сцене — в кругу света, падавшего из большого, накрытого то ли драным, то ли дырчатым платком абажура высокой напольной лампы с изогнутой шеей. Абажур свешивался с шеи, зеленая шелковая бахрома платка шевелилась. В кругу света Мыша уложила длинные плавные руки на колени и сидела совершенно неподвижно, глядя перед собой и чуть вниз. Взгляд ее приходился на боковину кресла с помещенной в нем серебристой Катей Мещеркиной, но не задерживался там, а проходил насквозь и упирался то ли в пол, то ли в угол двери, рядом с которой стоял, привалившись плечом к косяку, Захар Артемьев. Вадим с удовольствием глядел на Мышу — на ее прямые узкие плечи, на ее руки на высоких коленях. Сидя в тепле, в стороне от этих людей, занятых своими делами, Вадим ни о чем не желал думать: ни о Вене, ни о Риме, куда ему предстояло ехать по пути в Париж, ни даже о Мыше, на которую он смотрел с удовольствием.

— Не делайте глупостей! — услышал он требовательный голос Сени Повольского. — Не меняйте доллары на шиллинги! Зубами держите доллары, зубами!

Этот призыв был обращен к Мише Гурарию или, быть может, к Захару с Мышей. Мыша взглянула, наконец, на Вадима и усмехнулась виновато.

— Ах, оставь, честное слово! — выкрикнула Катя Мещеркина. — Вечно ты со своими долларами... Я — венка, понимаешь? Венка! Хотя бы сегодня! Я иду в кафе и плачу за кофе шиллингами, а не долларами. И мне нравится этот толстозадый Крайский не потому, что он живет в Вене, а потому что я живу в Вене.



— Он, все же, еврей — а добился такого положения, — одобрила Крайского Ира. — И он, говорят, совсем нищий, живет на одну зарплату.

— Зарплата зарплате — рознь, — заметил Андрей Мещеркин и тонко улыбнулся.

Вадим медленно поднялся со своего стула, прошелся по комнате и остановился за креслом Мыши, за массивной тяжелой спинкой.

— Послушайте! — сказал Вадим, ни к кому в отдельности не обращаясь. С силой проведя ладонью по голове, он пригладил волосы и словно бы приготовился произнести речь с трибуны. — Слушайте, делайте глупости! Кто сказал, что нельзя этого? Ведь так с ума можно сойти!

Снизу, из кресла, Мыша смотрела на него тепло. Что за имя — Мыша!

Вадиму не хотелось отходить от кресла, от запрокинутого к нему лица Мыши. Все ждали от него еще каких-то слов, еще чего-то — Мещеркины, Гурарий, Захар у двери. Ему расхотелось говорить. Он неохотно снял руки с залосненной спинки кресла, поплелся в свой угол.

— Может, потанцуем? — сказала Ира Повольская и одернула платье, собираясь подняться с кресла. — Поставь, Верка, что-нибудь, а то, правда, скучно.

Возвращались в первом часу, впереди шла Мыша, за ней Захар с Вадимом. Прямая широкая улица была пуста, и какой-то поздний гуляка, процокавший по мерзлому асфальту далекого перекрестка, только подчеркнул эту сонную пустоту.

— Люди быстро меняются, — словно бы угадав Вадимовы мысли, сказал Захар. — Здесь у всех свои заботы: визы, доллары. Или вот зубы дерут без наркоза.

— Ну уж, у всех... — замедлил шаг Вадим. — А вот, скажем — у тебя?

Не обернувшись, легко хмыкнула расслышавшая Мыша.

— А что я? — переспросил Захар. — Я живу — и все. Нам с Мышей хорошо здесь.

— Доллары тебе не нужны, — вовсе остановился Вадим Соловьев, — Россия тоже не нужна. Так?

— Совдепия не нужна, — мягко поправил Захар. — Да и Вена-то не нужна. Не все ли равно, как это называется: Вена, Париж или какая-нибудь там Филадельфия... Главное, что вот мы идем с Мышей домой, и никто нам не мешает жить, и мы никому не мешаем. В конце-то концов, не все ли нам равно, что тут кругом, — Захар повел длинной рукой в коротком рукаве, — кто это все строил: Франц-Иосиф, Корбюзье или какой-нибудь Смит! Нам-то что? Все равно, это все не наше, это как в магазине — и нашим, слава Богу, не будет никогда.

Вадим вспомнил старенькую "Спидолу", сводку погоды.

— А Андрей Мещеркин... — начал было Вадим.

Захар обезоруживающе пожал плечами — он, мол, Захар, за Андрея Мещеркина не ответчик, у каждого человека и голова своя, и душа своя.

— Тут, в эмиграции, советы никому нельзя давать, — подошла Мыша. — Все равно не станут слушать, только обидятся: не лезьте не в свои дела! А разговоры все об одном и том же: какая же это свобода и справедливость, если у какого-то герра Пупкина дом с гаражом и с мерседесом, а у меня даже на кофе нет, хотя герр Пупкин ничтожество и ничего в жизни не понимает, а я все понимаю и такое видал, что мало

кому здесь приснится. А если кому и рассказывать — так денег за это не платят и даже не верят.

— Вот, например, что в России одеколон пьют, — улыбнулся замерзшими губами Захар. — Никто не верит!

— Ну, это мелочь! — отмахнулся Вадим. — А, впрочем, почему ж не верят, если это правда? Ведь не уговаривают же их, что мы там сапоги варим и едим!

— А потому что им это все до лампочки, — сказала Мыша. — Одеколон, сапоги... Они послушают — и дальше идут.

— Ну, пошли, — сказал Захар. — А то холодно.

— Морозит, черт, — поежился Вадим. — А в Риме — тепло?

— Ну, теплей, конечно, чем здесь, — прикинул Захар. — Да ты поживи недельку — привыкнешь! И весна скоро.

— Не привыкну, — буркнул Вадим. — Противно как-то.

— Не уговаривай, Захар, — Мыша взяла мужчин под руки, пошла посредине. — Жалко, что вы не хотите здесь остаться, правда, жалко. А то мы думали — вот, приехал человек, теперь будем вместе. Не то, что нам тут одиноко, но... Понимаете?

Вадим промолчал, с беспокойством чувствуя маленькую цепкую ладошку у своего локтя.

— Понимаете, — продолжала Мыша, — вы нам с Захаром очень понравились. Ну, что тут такого, Захар, если это правда? Вы ведь сами слышали — тут только и говорят о чужих деньгах да о том, что у кого в кастрюле варится. Но если вы чувствуете, что должны ехать — лучше езжайте. У Захара знакомые есть в Фонде, они могут помочь перебраться в Рим. Бог даст, увидимся когда-нибудь.

— Грустно как, — вдруг посветлел Вадим Соловьев. — Хоть напейся.

— Ну и напейтесь, — сказала Мыша. — Вот тут за углом можно еще купить. Я картошки отварю, все равно спешить некуда.

Стоя у вагона "Вена—Рим", Вадим впервые в жизни не погонял тяжкое время вокзального расставания: до отхода поезда оставалось еще несколько минут, и Вадим с благодарностью и с удивлением думал о том, что Мыша и Захар пришли проводить его. Ему было радостно и легко представлять себе, как вот сейчас он им скажет: "Ребята, пошло бы оно все к черту — я остаюсь с вами!" — потому что он знал, знал точно, что через несколько минут поезд увезет его отсюда... Но какие золотые ребята!

Немного волнуясь, он думал о том, что вот сейчас он, наверно, поцелует Мышу. Захара и Мышу.

Он был смущен и растроган, когда Мыша, коснувшись прохладными губами его щеки, быстро его перекрестила.



#### 4. ЭТОТ ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ, ВЕЧНЫЙ ГОРОД РИМ

Индус на римском вокзале так понравился Вадиму Соловьеву, так обрадовал его своим совершенно неожиданным присутствием, что Вадим как-то сразу, в миг утратил интерес и к пиниям, о которых он читал и которые представлялись ему замечательными, и к Форуму, который он намеревался осмотреть в первый же день по приезде. Ему хотелось сесть рядом с индусом на мраморную лавку и просидеть два-три часа, может быть, до самого вечера. Для этого индуса — Вадим был в этом восторженно уверен — время не имело никакого значения, а Форум с пиниями и подавно. Да и Рим, вечный город Рим был здесь совершенно ни при чем: индус, как видно, чувствовал себя ничуть не моложе Рима, и вечность этого города нисколько его не занимала. Точно так же мог он сидеть на другой лавке, в другом городе — даже в Киеве, в вонючем тепле вокзала. Да-да, обязательно вокзала.

Но прежде о тепле. Вадим Соловьев погрузился в него, шагнув из вагона на перрон — в легкое, приятное тепло, напомнившее ему Крым, раннюю весну на его южном берегу. Сердце не защемило у Вадима

от этого воспоминания — просто Рим сразу, с первого шага сделался ему близким, почти родственным; хотелось говорить с ним "на ты", разведочно похлопывать по плечу. Отсюда, с солнечного перрона, Вена казалась Вадиму противной старушенцией с фарфоровыми вставными зубами.

А старый индус сидел на мраморной лавке, чуть наклонив к груди патлатую седую голову. Он был одет в потрепанный европейский костюм, темный, явно с чужого плеча. Смуглые руки с узкими, хрупкими запястьями далеко высывались из коротких рукавов пиджачка, а голова казалась непомерно большой на узких плечах. Индус глядел на снующих взад-вперед людей совершенно безучастно, и невозможно было даже предположить, зачем он здесь сидит и чего ждет. Может, он привел сюда за руку энергичных Рема и Ромула, они занялись здесь своим делом, а старик сидит себе на лавке и терпеливо ждет, когда это все кончится... Он не выглядел больным, этот старик, хотя и смотрел безучастно, в одну точку.

Вадиму Соловьеву ни о чем не хотелось расспрашивать старика, да и на каком бы языке он стал его расспрашивать. Ему хотелось заварить для него чай и молча угостить его чайком, вот хотя бы тут же, на лавке. А старик, словно бы заподозрив неладное, медленно поднялся на ноги и, шаркая своими разбитыми чунями, поплелся в подвальный этаж вокзала. Он брел, как по золотой песчаной тропинке, по сияющему мраморному полу, мимо аккуратно выпирающих из стен исторических камней с объяснительными надписями. Вадим следовал за ним, волнуясь: вот сейчас старик с шоколадными глазками встретит свою старуху в сари, и они потащат куда-нибудь свои тюки и мешки, и это будет очень неприятно, потому

что все сразу выяснится с этим индийским стариком в городе Риме. Жалко, что он не привел сюда за руку Рема и Ромула.

Тем временем индус дотащился до свободной лавки и бочком на нее опустился. Эта лавка ничем не отличалась от той, на которой он сидел этажом выше — черная мраморная лавка, никак не предназначенная для долгого сидения и отдыха. Старик уселся в той же позе — сгорбившись и немного опустив голову, и глядел на вокзальных людей по-прежнему безучастно, как бы из другого, древнего мира. Ничего не изменилось в старом индусе, и было непонятно, зачем он оставил старое место и с какой целью приволокся сюда, в подвал. Вадим увлеченно огляделся: может, все это ему показалось, и старик продолжает сидеть, где сидел? Но подвальный этаж с его глухими стенами и выпирающими камнями вовсе не походил на тот, верхний. Старик, значит, спустился. Стоя сбоку от лавки, Вадим Соловьев вдруг догадался, что индус просидит здесь две-три сотни лет, а потом подыметесь и, волоча чуни, вернется в верхний зал. Так оно должно быть.

И, полюбив старика-индуса, Вадим Соловьев пошел к выходу из вокзала. Он готов был уже полюбить и Рим, и только чрезвычайные обстоятельства смогли бы отвратить его от этой любви.

Риму следовало прощать его слабости, в Риме Вадим Соловьев готов был, не морщась, выпить чашку кофе вместо цейлонского чая. Неизвестно отчего — но приятно было сидеть в чистом кафе, за маленьким столиком, где-нибудь в уголке, и гадать о людях, проходящих за широким окном: кто они, куда идут, зачем. Приятно было вспоминать о Захаре и Мыше,

о том, что они непременно увидятся — хорошо бы здесь, в Риме, а ночевать можно будет всем вместе в Остии, в комнатке, которую Вадим снял и в которой он появлялся только поздно вечером, возвращаясь из Рима. Приятелей Вадим себе не завел — эмигранты оказались народом суетным и нервным, большую часть времени они проводили на базаре, торгуя вывезенным из России жалким барахлом: рыболовными крючками, матрешками, какими-то сверлами. Обсуждали они в основном ход торговли, отвлекаясь лишь затем, чтобы поговорить о канадских или новозеландских визах. Вадим даже немного гордился тем, что ни с кем не подружился и одинок; он хранил верность Мыше и Захару.

В кафе у вокзала было почти пусто. Официант, праздно постояв у стены, ушел в кухню. Сидя на самом краешке стула, Вадим откинулся на спинку и вытянул ноги под столом. Он глядел на дверь, и дверь отворилась, и в двери появилась большая грязная собака, глядящая исподлобья. Вадим живенько выпрямился и подобрал ноги, чтоб удобнее было вскочить, если понадобится. Но грязная собака лениво оглядела Вадима, а потом подалась в сторону, пропуская нищего в обвислом драпом плаще и в белой шляпе, за ленточку которой было заткнуто несколько куриных перьев. Красные винные пятна не сплошь покрывали бесформенную тулью и жеванные поля шляпы.

Войдя, нищий подмигнул Вадиму и швырнул на землю, по ту сторону порога, небольшой мешок, нечто среднее между рюкзаком и котомкой, и нищая собака сразу же легла возле мешка и положила на него свою грязную лобастую голову. А нищий, легко шагнув к ближнему столику, взял с блюдечка два



сахарных пакетика, разом оторвал уголки и, запрокинув голову, ссыпал в рот сахарный песок. Хрустя песком, он протянул руку к соседнему столику — там стоял недопитый стакан воды, схватил стакан, проглотил воду, а вторая его рука уже выуживала из блюдечка два новых сахарных пакетика, и он, не успев еще поставить стакан на место, оторвал зубами бумажные уголки и, держа руку немного на отлете и встряхивая пакетики, поймал раззявленным ртом сахарную струю и зажевал, захрустел. Глотать сухой песок было непросто.

Вадим Соловьев глядел на нищего с восторгом: какой, однако, артист! С каким чувством собственного достоинства он подмигнул ему, Вадиму, с порога, прежде чем приняться за дело! Вот он, действительно, как настоящий артист, живет сегодняшним днем — в карман ничего не тянет, не припасает, хотя украсть десяток пакетиков и потом сожрать сахар в тихом месте куда проще, чем здесь давиться песком.

Тем временем нищий, не приближаясь к кухонной двери, переходил от стола к столу в поисках кофейных опивков или глотка воды. Нищему было лет шестьдесят или немногим больше. Он был явно возбужден — то ли от вина, то ли по причинам склада характера. Он крал сахар как бы шутя, как бы играя — но жевал хищно и жадно. Для удобства глотания он поводил, подергивал головой, и его большой мясистый нос двигался, а глаза из-под сосредоточенно сдвинутых седых бровей оглядывали посетителей кафе вполне доброжелательно. Треугольный кадык нищего двигался по морщинистой шее рывками, как испорченный лифт.

Нищий как раз вскрывал очередную пару пакетиков, когда в зал из кухни вошел официант. остано-

вившись у стеночки, официант угрюмо рассматривал нищего и бормотал что-то себе под нос, покачивая головой; он не спешил бросаться на нищего и выталкивать его.

А нищий решительно, но без суеты подался к выходу и исчез за дверью, и видно было, как его собака взяла зубами мешок и понуро затрусилась с поноской.

Вадиму Соловьеву было стыдно: он не дал нищему свое кофе запить песок, он не предупредил его, когда вошел официант. Высыпав мелочь на блюдечко и взглянув на официанта дерзко, Вадим вышел на улицу. Нищего нигде не было видно, и Вадим почувствовал облегчение: ему не хотелось глядеть в глаза человеку, которому он мог, даже должен был бы помочь — и не помог ничем. Журя себя за это чувство облегчения, Вадим брел под колоннадой вдоль обшарпанных стен и витрин сувенирных лавок. Вот, не помог хорошему человеку, а теперь еще и радуется. В Москве помог бы. Запад этот, наверно, так действует, правильно люди говорят: вчера еще помог бы, а сегодня уже не помог. И как только не совестно! В том-то и беда, что не совестно.

Пустой ты человек, вообразил о себе Вадим Соловьев. Вот, сидишь себе в Риме, вместо того, чтобы что-то делать, писать каждый день, в конце концов. А еще Захара осуждаешь с Мышей. Ну, положим, без Мыши — с нее какой спрос. И вообще, оставь Мышу... Да и Захар знает, чего хочет: чтоб дождь шел, или чтоб солнце светило. Один ты ничего не знаешь и ничего не можешь сделать; и поэтому мне жалко тебя... Но этого еще мало: в этой вонючей Вене ты хотя бы мучился оттого, что ничего не можешь сделать, а здесь, в Риме, не мучишься или вот предал человека, нищего. Ты живешь как трава: тебе тепло — значит, тебе хо-

рошо. Потом пройдет корова и обольет тебя жидким дерьмом; ты просто дерьмовая трава. Почему ты не пишешь "Круглую площадь", идиот? Вот как дам тебе сейчас по харе! Как дам по харе — уши отлетят. Кто это так говорил — "уши отлетят"? Кто ж это был? Надо записать, чтоб не забыть... Вот-вот, ты только записываешь, а ничего не пишешь. А для кого писать-то? Для этого зубного врача, который зубы без наркоза тащит! Или для князя Мещеркина? Так он лучше немецкую газету будет вверх ногами держать, чем читать по-русски: венцы по-русски не умеют. "Пиши, пиши"! Ты слабак и идиот, вот что я тебе скажу. Ты ведь вот не хотел встретить свободного нищего человека, после того, как ты, в сущности, его предал: боялся, чтоб неприятностей морального характера самому себе не причинить. Это все не так просто, черт тебя побери! Потому что вот так же точно ты боишься думать о том, что писать тебе — не для кого. Кто здесь знает твои "Мощи"? Никто. А там — знали. Эх, если б в Риме жили одни москвичи, вот было бы здорово! А то живут какие-то Робики-Бобики. Нищий, правда — старик замечательный.

И Вадим Соловьев, действительно, почти что обрадовался, когда, не доходя вокзала, в колоннаде, чуть не наступил на нищую собаку, лежавшую посреди дороги, положив грязную голову на мешок. Вадим вскрикнул от неожиданности и от отвращения к собаке, и собака, быстро взмахнув сильною лапой, окорябала его. Подавляя рвотные спазмы, Вадим отошел к колонне и прислонился к ней. Собака вызывала в нем ужас пополам с отвращением — как змея или земноводное существо. Она нагло и грозно валялась против входа в сувенирную лавку, в витрине которой густо насыпаны были кресты и пробочники в форме кормя-

щей волчицы, а нищего не видно было. Косясь на собаку, но не глядя открыто в ее сторону, чтоб она не зарычала и не бросилась, Вадим Соловьев ждал. Нищий показался из сувенирной лавки, держа за уголок почтовую открытку. Вадим напряг зрение и к изумлению своему и радости обнаружил на открытке изображение Папы в алой атласной чеплашке. Вадим Соловьев был растроганно благодарен нищему за то, что на открытке был изображен Папа. А нищий, оглядевшись и не найдя подходящего места, беззаботно подошел к своей собаке, опустил на корточки и, положив открытку на собачий бок, достал карандаш и принялся что-то обдумывать и писать. Этот нищий, как видно, не любил откладывать возникающие по ходу жизни дела на потом. Вадиму очень хотелось узнать, что и кому писал нищий на почтовой открытке с изображением Папы.

Закончив писать, нищий удовлетворенно оглядел открытку с обеих сторон, а потом заметил Вадима Соловьева у колонны и подмигнул ему — то ли оттого, что узнал его, то ли по привычке подмигивать людям.

— Эй, амиго! — окликнул Вадим Соловьев, видя, что нищий поднялся на ноги и собака его тоже поднялась на ноги и угрюмо взяла поноску.

Нищий обернулся на зов как бы досадливо — вот, стоит у колонны какой-то незнакомый человек и мешает его, нищего, планам, — но, мельком оглядев Вадима, приподнял над головой шляпу с прямо торчащими куриными перьями. Вадим шагнул от колонны, с опаской глядя на собаку. Заметив Вадимовы сомнения, нищий что-то проговорил, а потом замахал руками, показывая тем, что собака совершенно ручная и бояться ее не надо. Для наглядности нищий даже

сунул в рот пальцы и слегка прикусил их, — собака, мол, держит мешок, пасть ее занята.

Зыбкое знакомство следовало укрепить, и Вадим, улыбаясь шире естественного, указал, настойчиво потрясая рукой, на вывеску ближайшего ресторанчика. Нищий, казалось, был озадачен приглашением. Он наново, оценивающе оглядел Вадима Соловьева с головы до ног; спустившись до скороходовских Вадимовых ботинок, он остановился на них, прищурился раздумчиво и несколько раз прищелкнул языком.

— Американо? — подняв взгляд, с сомнением в голосе спросил нищий.

— Русо! — почему-то радостно сообщил Вадим Соловьев и добавил, указывая пальцем в нищего: — Итальяно! Вот так, ядрена палка... Ду ю спик инглиш? По-английски можешь?

— Поко-поко, — сказал нищий и вздохнул.

— Ресторан! — сказал Вадим и снова указал на вывеску. — Ресторан — понял? Пить, есть! — и он энергично задвигал челюстями, как бы жуя и глотая.

Нищий согласно покивал головой, а затем старательно вывернул пустые карманы своего плаща.

— Это все ерунда, — утешил нищего Вадим Соловьев. — С каждым человеком может случиться. — Он выудил из заднего кармана тощую пачечку денег, лир и долларов, и показал нищему. — На обед хватит.

Вадим вдруг почувствовал сильный голод, ему захотелось немедленно, сейчас же сесть за стол, вдумчиво заказывать, ревниво следить за официантом — кому несет, деятельно разливать вино и вкусно жевать, жевать и глотать розовое мясо, рассыпчатую картошку и мягкий хлеб, пропитанный густой подливкой.

За столом, покрытым клетчатой домашней скатертью, нищий сидел молча и только подмигивал Вадиму Соловьеву. Вадима смущало и раздражало это подмигивание, оно требовало ответного подмигивания либо дурацких улыбок, а английских слов не доставало Вадиму, чтобы завести приятельский разговор. С этим затянувшимся перемигиванием и молчанием следовало кончать, и Вадим, поерзав на стуле, снова извлек из кармана свою денежную пачечку и, разделив ее на глазок, половину придвинул к руке нищего. Нищий пожал плечами, подмигнул и, пересчитав, опустил деньги в карман плаща. Потом он снял шляпу в винных пятнах, положил ее рядом с собой на стул и долго говорил что-то по-итальянски. Вадим слушал нищего напряженно, как слушают трудную музыку. Ему хотелось поскорей начать пить, он знал, что вместе с опьянением придет легкость, и дружба с нищим сделается прекрасной и замечательной.

И, действительно, после первой бутылки вина нищий попросил граппы. Вадим того и ждал — чтобы его новый итальянский товарищ, сидящий с ним в этом кабаке и переводящий на него время вместо того, чтобы побираться или ссыпать в рот сахарный песок, о чем-нибудь попросил, а Вадим сразу бы сделал: ну, захотел бы съесть еще порцию этих штук с начинкой или поменять на память свой плащ на Вадимому куртку. Нет-нет, Вадим Соловьев и не думал о том, что расплачивается за свое маленькое предательство — он, действительно, испытывал к нищему почти родственные чувства. Да и нищий, хватив вонючей граппы, перестал, наконец, подмигивать и, трудно извлекая из памяти английские слова, спросил, помогая себе руками:

— Что ты делаешь? Турист? Студент?

— Писатель я, — сказал Вадим и даже покраснел от удовольствия, от какого-то глубинного, тайного удовлетворения. — Эскритор. Книжки пишу.

Он был признателен нищему за этот вопрос, за интерес случайного милого человека к тому, чем он, Вадим Соловьев, занят на земле.

— А, эскриторе... — удовлетворился нищий. — Рим — хорошо?

— Гениально! — искренне определил Вадим. — Просто гениально!

— Ты не знаешь, что такое Рим, — угадал нищий. — Я — знаю. Я тебе покажу.

Вадим любил слоняться по улицам без цели, просто так. Разглядывая старинный дом, случившийся на его пути, Вадим не дивился его возрасту или славе — а с почтением думал о каменных стенах, пропустивших внутри себя многие поколения людей, о том, кем были эти люди, и как они сидели здесь по вечерам при свечильнике, как уходили отсюда на войну, и как возвращались или не возвращались. Ему живо, хотя и несколько стерто по краям, представлялись картины их жизни: труд, пьянки, ссоры и любовь. На этих картинах обувь их была покрыта вполне реальной грязью улиц, руки лоснились от жира пищи. Дом, в котором протекала неповторимая жизнь этих людей, имел второстепенное значение. Его бревна и камни были примечательны лишь тем, что цепочка жильцов, скользящие звенья которой некий Некто как бы пропускал, задумавшись над чем-то своим, сквозь теплые пальцы, — что эти сменяющие друг друга временные жильцы ступали по плитам пола дома и опирались плечами о его толстые глухие стены. Вот и все о доме; он стоит себе на своем месте — старинная диковинка, действующий инкубатор поколений.

Целезаданные же перемещения от какой-нибудь исторической колонны к древней церкви вызывали в Вадиме Соловьеве озноб протеста. Колонна в глазах Вадима была лишь каменным пальцем, не имеющим отношения к человеческой судьбе, сладости или боли, а в церквях, по его разумению, неизбежно сменяющие друг друга пласты людей бездействовали, немо рассказывая Богу, навязывая ему интереснейшие, возможно, истории о содеянном вне этих стен и о вовсе еще не содеянном. Вадим был до поры бесповоротно убежден в том, что монолог человека к Богу не требует ни направляющих посредников, ни объединяющих и воздушно давящих стен собора. Монолог этот может быть произнесен в любом месте, в любом положении — хоть на голове стоя, — но только при одном непереносимом условии: в сосредоточенном одиночестве.

Сам Вадим несколько раз, в минуты беспредельного, как ему тогда казалось, беспокойства души, обращался к этому некоему Некто, повсеместному и вместе с тем неопределимо далекому, обращался и только постанывал, не пуская наружу слов, предназначенных лишь ему, Вадиму и Тому, другому. Для этого не требовалось ехать на другой конец города, в церковь, толкаться там среди людей, как на собрании или в театральном фойе, слушать пение и палить какие-то свечки. От всей этой суетни Некто не стал бы ближе и не отдалился бы ни на шаг. Постанывая с тесно сведенными губами, глядя перед собой и не различая окружающих близких предметов, Вадим Соловьев видел самого себя, увеличившегося вдруг до размеров неба, и говорил как бы с самим собой, — и поэтому уверен был если и не в помощи, то в понимании. Впрочем, самым краешком души он верил и в помощь.



В церкви он был два или три раза в жизни, показалась она ему подходящей для мертвой вечности, а не для горячей жизни: люди строили не для себя, а для Бога. А Богу этого не надо. Вадим Соловьев не любил рассуждать о том, что Богу нужно, а чего не нужно: ни попу этого знать не дано, ни секретарю горкома. Но что церковь — красивая или некрасивая, с колоннами или без колонн — Богу ни к чему, — в этом Вадим не сомневался.

— Может, просто погуляем по Риму? — сказал Вадим и потянулся к нищему своим бокалом. — Страде ди Рома — бениссимо! Так, что ли, у вас говорят? Да?

Нищий тотчас согласился, готовно закивал головой: да-да, именно так и говорят, и римские улицы прекрасны. После граппы лицо нищего покраснелось, глаза погрузнели и весь он как-то ссутулился и постарел. Подбирая остатки еды хлебом и допивая, нищий часто вздыхал и взглядывал на Вадима сочувственно, как если бы их объединяла в этом зале кабака общая, беспроектная судьба.

А Вадим, напротив, чувствовал раскованность и приятную легкость: алкоголь сделал свое дело. Граппа больше не воняла тошнотворным самогоном, нищий, казалось, вдруг начал чудесным образом понимать все, что хотелось Вадиму, и по-русски. Вадим глядел на старого нищего благодарными глазами, чуть не плача от умиления, и поглаживал его по грязному плечу.

— Мы с тобой братья, амиго, — сказал Вадим Соловьев, размешивая сахар в кофе. — Я тоже нищий человек, но это даже хорошо, это прекрасно. У меня ничего нет — ни родины, ни дома, ни даже бабы. Даже собаки нет — я сам пес, так меня прозвали. Но если я пес — у меня нет мешка, который я таскал бы в зу-

бах. Понимаешь, камрад? - Услышав понятное слово, нищий приоткрыл глаза, кивнул, а потом снова придремал. — Только нищий может писать книги в этом гнусном мире, — продолжал Вадим Соловьев. — В этом-то все и дело. Если хочешь знать, нищие — это особая нация, одно племя. Вот мы с тобой сразу друг друга поняли и договорились. А вот с этим, например, о чем мне говорить? Да плевать он хотел...

С официантом — черноволосым парнем с тупым и постным лицом — говорить, действительно, не имело никакого смысла. Развернув счет, Вадим расплатился и, приглашающе взглянув на нищего, поднялся из-за стола. Живо поднялся и нищий, и сгреб ладонью в карман плаща огрызки хлеба и кости.

— Кане! — объяснил нищий и указал рукой на дверь, за которой спала на мешке собака. — Кане — ням-ням!

После душного ресторана на улице показалось свежо, как в горах. Нищий, сбив на затылок свою белую шляпу, бодро зашагал через дорогу, словно бы знал совершенно точно, куда он идет и зачем. Вадим и собака поспевали по разные стороны от нищего, не обращающего никакого внимания на машины, опасно нацеленные на группу. Замирая от страха быть раздавленным, Вадим даже головой не вертел, а только восхищался беспечной выдержкой своего нищего товарища. Собака — та боялась, жалась к ногам хозяина. А машины ехали на большой скорости, тормозили с противным скрипом, либо с ревом поворачивали и проносились мимо. Вадим Соловьев с тоской глядел на милые деревья по ту сторону улицы; он не хотел погибнуть под колесами где бы то ни было, даже в Риме.

Выбравшись на тротуар, нищий, не сбавляя хода, нырнул в какой-то переулок между приземистыми

желтыми домами, в нижних этажах которых помещались дешевые винные лавки и обжорки. Вадиму хотелось здесь остановиться ненадолго, постоять на горбатой каменной мостовой — переулочек был теплый, живой, похожий на коридор большой коммунальной квартиры, — но нищий все шагал, развевая полы плащика, и собака трусила. Сунув руки в карманы куртки, Вадим, ухмыляясь неизвестно чему, послушно зашагал за нищим.

Они шли с четверть часа, в легко густеющих сумерках, шли сквозь великолепные проходные дворы, по прекрасным тесным и кривым переулочкам, пахнущим фасолевым супом. Хотелось сбавить шаг, остановиться в любом месте и остаться здесь надолго: на час или на два. Нищий, однако, продолжал размашисто шагать, как будто выполнял ответственную и срочную работу. Он немного устал и приволакивал правую ногу — то ли натер при быстрой ходьбе, то ли вдруг дали о себе знать старые какие-то изъяны, — и при каждом шаге он припадал влево, плечом вперед. Вадиму Соловьеву хотелось остановить нищего и дать ему немного отдохнуть, но он не знал, как это все ему растолковать. Да нищий ведь мог и обидеться, подумать, что Вадим его осаживает: куда, мол, ты, старик, разогнался, что это за бега в твои-то годы да с хромой ногой!

Утопленная меж высокими приземистыми домами, глубокая площадка открылась перед ними внезапно: они словно бы нырнули в нее из подземного тоннеля.

— Фонтан! — отдуваясь, объявил нищий и сел на каменную ступень лестницы.

Собака, выпустив поноску, тыкалась мордой в от-

топыренный карман хозяйского плаща, набитый костями и огрызками хлеба.

Примыкая к стене одного из домов, часть площади, действительно, занимал фонтан; его подсвеченная фонарями вода оплескивала каменные изображения людей и животных. Сотни праздных людей молча глазели на изображения и слушали шум воды, падающей каскадами. Зрители стояли вдоль бортика фонтана или, теснясь, сидели на нем или чуть поодаль; многие сбросили обувь и ели принесенную с собою пищу, как будто после долгого марша решили стать здесь на постой до утра, в ожидании необыкновенного происшествия. Оберточная бумага и скомканные пакеты валялись на мостовой, под ногами гремели порожние жестяные банки из-под пива и кока-колы. Легкий мусор плавал и в самом фонтане, над мелкими монетками, покрывшими дно бассейна, как рыба чешуя. Время от времени дальние зрители проталкивались к фонтану, оглядывали фигуры, мусор и монетки, а потом удовлетворенно, как после посещения уборной, возвращались на свои места. Старики и старухи в спортивной одежде были здесь, и рослые бродяги с рюкзаками, и аккуратные японцы с фотоаппаратами, и негры с расческами в проволочных волосах. Проходя вдоль фонтана, Вадим Соловьев с большим интересом разглядывал этих людей, неизвестно зачем прибывших сюда, на фонтанную площадь, с дальних концов земли; ему хотелось обнаружить среди них, для окончательной полноты картины, того индийского старика с вокзала. Но индуса не было нигде: возможно, он уже побывал здесь когда-то, посидел-посидел и вернулся к себе на вокзал.

Обойдя площадь, Вадим протолкался к нищему и

сел рядом с ним на ступеньку. Сидеть на камнях было холодно, люди, проходившие вверх и вниз по лестнице, задевали Вадима краями одежды.

— Кофе, — сказал Вадим Соловьев и сделал вид, что подносит ко рту чашку. — Кофе хочешь?

Нищий поглядел на Вадима и широко, гостеприимно обвел рукой площадь и фонтан.

— Очень интересно, — согласился Вадим. — Очень хорошо... Но сколько людей, черт бы их побрал! Хорошо бы пойти куда-нибудь в тихое место, посидеть, чайку попить или кофе. А то холодно!

— Туристы! — разъяснил нищий и пожал плечами.

— Да-да, — сказал Вадим, подымаясь. — Но мы-то с тобой не туристы. Мы — нищие люди на этой древней помойке. Кофе, амиго мио! Граппа!

При слове граппа поднялся и нищий, и собака следом за ним. Теперь впереди, проталкиваясь сквозь толпу, шел Вадим. Ему хотелось поскорей выбраться отсюда в теплые узкие переулки, журчащие людьми. Фонтанная площадь жила своей, особой жизнью — жизнью театра или выставки.

Вывеска маленького бара светилась невдалеке, в другом мире. Вадим с облегчением толкнул дверь и, пропустив нищего, вошел. Собака привычно осталась лежать за порогом, в темноте кривенького переулочка, в свету фонаря.

Столики были почти все свободны, но Вадим прошел в дальний угол бара, к самому концу обшарпанной стойки, и уселся на высокий табурет — как будто этот полутемный тупик обладал независимостью перед остальным миром.

— Кофе! — сказал Вадим барменше — высокой некрасивой девушке в свитерке и джинсах. — И граппу!

Нищий умиротворенно мурлыкал что-то, колукая серым граненым ногтем щербину на деревянной крышке стойки.

— Вот это, понимаешь, хорошо! — сказал Вадим Соловьев и обнял нищего за плечи. — В трех шагах отсюда эта идиотская толкучка, а здесь мы сидим и будем сейчас пить граппу, а земля летит хрен ее знает куда... Ей-Богу, хорошо!

Нищий, слегка привалившись к Вадиму, морщил лоб и изумленно покачивал головой. А Вадим, обнимая его, как бы ободряюще похлопывал его ладонью по плечу.

Барменша принесла и поставила на стойку спрощенное. Ей было лет девятнадцать-двадцать, этой девушке, ее черные, по плечи, волосы были хорошо промыты и матово поблескивали. Стоя против Вадима, отделенная от него лишь узкой стойкой, она щелкнула выключателем, и нерезкий направленный свет выхватил из полутьмы металлическую блестящую мойку, встроенную в стойку с внутренней ее, служебной стороны. Вадим без труда, даже не привставая с табурета, мог дотянуться до нее рукой. Засучив по локти рукава синего свитерка и пустив горячую воду из крана, девушка принялась мыть в мойке большую банку из-под горчицы. Она наклонила голову, тяжелые чистые волосы упали, закрыв от Вадима некрасивое лицо. В направленном свете, в мойке, как будто на сцене, действовали только обнаженные руки девушки — длинные, тонкие руки, похожие на белые струганые дощечки. На одном узком запястье голубел маленький татуированный крестик, на другом золотилась, вздрагивала металлическая цепочка. В падающей водяной струе пальцы девушки — длинные, подвижные и гибкие, покрасневшие от горячей воды, еще удлиненные пунцовыми выпуклыми ногтями, аккуратно заостренными на кон-

цах — оплетали грязную банку, скользили по ней, проникали в нее, сквозь ее широкое круглое горло, и там, внутри, продолжали непрерывно двигаться, очищая стенки и выпуклое дно от размякшей в воде коричневатой массы. Вадим, сдерживая вдруг затруднившееся дыхание, глядел на эти длинные как ноги, голые, шевелящиеся, вздрагивающие, возящиеся под горячей струей пальцы, возле своего лица. В этом беспокойном, уверенном движении было что-то запретное, бесстыдное и притягивающее властно, неотрывно.

Девушка закончила мыть, выключила свет над мойкой и, отвернувшись, тщательно вытирала руки полотенцем.

— Пойдем! — глухо сказал Вадим, залпом выпив свою граппу. — Пойдем куда-нибудь отсюда...

Он вытащил из кармана мятый комочек денег.

Нищий поглядел на деньги, потом — оценивающе — на барменшу.

— Да она просто уродина! — сказал нищий. — Она будет строить из себя студентку, вот увидишь, и выманит у тебя все деньги на учебники. Я найду тебе что-нибудь получше, настоящую римлянку, и это обойдется тебе куда дешевле.

— Да-да, — не понял Вадим Соловьев. — Пойдем. Только не будем так бежать.

Они шли медленно, рядом, а собака плелась сзади.

— Жалко, ты ни хрена не понимаешь по-русски, — наклонив голову вперед и размахивая руками, то с маху запуская их в карманы куртки и сжимая там в кулаки, говорил Вадим Соловьев. — Ты видал, что она там делала своими руками? Дело, конечно, не в ней. Дело в том, что я тысячу раз видел, как баба что-то такое там моет — банку или кастрюлю, неважно. И никогда это меня не трогало, плевал я

на это. А тут вдруг — как приковало: сидишь, глаз не оторвешь. Ты мне вот что объясни: почему это? Пальцы, свет, вода; и это все... А, может, это и есть — искусство?

— Ну да, ну да, — уловив вопрос в рассуждениях Вадима Соловьева, услужливо бубнил нищий. — Вдвое дешевле тебе обойдется, это я тебе говорю! Я ее, конечно, попрошу, чтоб она еще скидку дала, но им ведь тоже жить надо. Под утро, может, она б и бесплатно пустила, а сейчас ведь у них самая работа. Ну, да чего там: придем, поглядим. Ты мне хорошее сделал — и я тебе сделаю, обязательно. Что могу — то пожалуйста. А больше ничего не могу, у меня ничего нет... Погоди-ка! — нищий сделал останавливающий знак и нырнул в винную лавку.

Собака не успела еще как следует устроиться на мешке, как нищий снова появился на улице, с бутылкой вина в руке.

Отхлебнув вина, нищий вытер губы, а потом горлышко бутылки своей белой шляпой и протянул бутылку Вадиму. Вино было кислое, невкусное, но под требовательным взглядом нищего Вадим сделал несколько больших глотков.

Они шли, попивая, полчаса или сорок минут, пока выбрались на какой-то почти безлюдный проспект, то ли шоссе. Нищий зашел, деловито озираясь, заглядывая в редкие дворы и подворотни. Наконец, он остановился у двери запертой лавочки, в мелком окне которой масляно теплился огонек, и постучал мягко, ладонью. Ему открыли. Стоя на пороге, он довольно долго говорил с кем-то, находившимся в комнате, убеждал в чем-то и уговаривал, а потом обернулся к Вадиму и поманил его.

Посреди лавочки, за раскладным дачным столом,



четыре проститутки пили кофе, подливая из высокого термоса. Пятая проститутка переодевалась в углу перед зеркалом: сняв джинсы, она натягивала теперь на плотные ляжки короткую кожаную юбчонку, сшитую из разноцветных полос. Юбчонка была тесная, и проститутка, натягивая, вертела задом и без интереса поглядывала на Вадима в зеркало.

— Ну вот, — сказал нищий, подойдя к столу, но не садясь. — Выбирай, кого хочешь. — Приглашая Вадима, он широко обвел девушек рукой. — Это совсем недорого. Вот: — Выбросив пальцы, он показал, сколько именно. — Скидка — раз, и еще я не беру мои комиссионные — это два.

Управившись, наконец, с юбкой, проститутка отошла от зеркала и, сдернув с нищего его шляпу с куриным пером, со смехом надела ее на себя.

— Русо? — спросила проститутка, все еще смеясь. — Коммунисто?

— Да нет, — пробормотал Вадим Соловьев, с опаской глядя на неестественно большие и высокие груди девушки, выползающие из-под низкого выреза кофточки. — Беспартийный я. А вы что — партийная?

Нищий не мешал разговору. Отойдя в сторонку, он прохаживался вдоль полки с товарами, разглядывая винные бутылки. Он сделал свое дело, и дальнейшее, казалось, вовсе его не интересовало.

— Ну, пойдем, — отсмеявшись, сказала девушка и, поскольку Вадим Соловьев не двигался с места, потянула его за рукав куртки. — Пойдем, русо.

Вадим выдернул рукав и отступил к двери, а девушка удивленно и сердито взглянула на нищего, гуляющего вдоль полки. Проститутки за столом загомонили что-то все разом, адресуясь, очевидно, к ни-

щему; он, не оборачиваясь и никак не реагируя, подался вдоль полки поближе к выходу.

Нашупав дверную ручку, Вадим нажал на рычаг и, пятась, переступил порог. Нищий выскочил вслед за ним стремительно, чуть не сбив Вадима с ног. Несколько шагов отойдя, нищий вдруг остановился.

— Шляпу забыл! — показал нищий и, отпахнув полу плаща, сунул Вадиму Соловьеву большую оплетеную бутылку вина. — Погоди минутку...

Не пришлось ждать и этого: едва нищий приоткрыл дверь, как шляпа, брошенная меткой рукой, угодила ему в лицо. Негромко выругавшись, нищий напялил ее на голову и вернулся к Вадиму.

— Ну, ты даешь! — более потерянно, чем укоризненно, сказал Вадим Соловьев. — С ума сошел, что ли?

Вместо ответа нищий потянул у него из рук бутылку, открыл, хлебнул, обтер шляпой и вернул Вадиму. Выпил и Вадим.

— Нехорошо даже, — продолжал Вадим уже на ходу. — Я к тебе как к товарищу, а ты мне за это выставляешь блядь. И как ты не понял, честное слово! Мне ребята в Москве говорили: "они нас там, на Западе, ни черта не понимают. Ты им про Петра, а они тебе все время про Ерему". Ну, если б меня какой-нибудь там торгаш не понял или богач — но ты!.. Да и как я с ней лягу, когда я с ней даже познакомиться не успел? А она еще тащит...

Вадим сделал паузу, и тогда заговорил нищий. Вадим настороженно вслушивался в звучание итальянской речи, стараясь поймать хоть одно знакомое слово. Но нищий говорил быстро и, казалось, сбивчиво:

— Ты не бойся, я это все равно устрою. А как же! Конечно, они не первый класс, но зато знакомые. Я к ним скольких уже переводил, и никто не жало-

вался и не заболел потом. А скидку еще кто даст? Лучше всего, конечно, без денег, чтоб совсем ничего не платить. Зато вино у нас теперь есть, это тоже хорошо. Сколько она там хотела? Из этого по-честному надо отнять вино. — Нищий, далеко выпростав руку из рукава плаща, стал загибать пальцы, считать. — Ну, что, получается неплохо. Сегодня даже по любви больше берут, если хочешь знать. А что ты здесь знаешь? Направо, налево — и все. Тебя кто хочешь обштопает, а я хочу по-честному: добром за добро. Я, может, добром за добро уже сто лет никому не платил, потому что случая такого не было. Я, вот посмотришь, так сделаю, чтоб ты меня потом вспоминал, мне, может, это как раз надо... А если она не захочет по-хорошему, я ее прокляну!

Кого собирался проклясть нищий — этого Вадиму Соловьеву не дано было узнать. Отчаявшись понять что-либо из красивого потока слов своего товарища, он вернулся к своим мыслям, которыми ему так хотелось поделиться с кем-нибудь, готовым благожелательно слушать. А нищий и слушал, когда сам не говорил.

— Мне что надо, камрад? — спросил Вадим после очередного глотка из бутылки. — Мне надо, чтоб меня понимали; это главное. Деньги, заводы-пароходы — это все ерунда, пуговицы. В России у меня было пятьсот человек, ну, четыреста, которые понимали, что я такое есть, потому что читали меня. А если б меня печатали — тысячи понимали б, десятки тысяч!.. А здесь кто меня поймет? Вон, мне уже предлагали: поедешь в Америку, поступишь на какие-то гнусные счетные курсы, купишь цветной телевизор и домашние ботинки на резиновом ходу. Хрен вам, идиоты! Плевал я на ваш телевизор! Я ос-

танусь в Риме, он мне нравится. Вот ты, — он, остановившись на миг, схватил нищего за плечи и встряхнул его, — ты хочешь телевизор? Не хочешь? А на курсы? Ну, вот. Я остаюсь здесь. Лучше с тобой разговаривать, чем с какими-то там счетоводами. Мне вызов прислал из Парижа парень один, Рогов его зовут — не поеду. Он там, Рогов этот, журнал заварил, "Ось" называется: стихи, проза. А в журнале — кто? Рогов, да Колодный, да Рубинчик, да опять Рогов. Это же срам один! Свободная русская литература! Нет, я в Москве без них обходился, и здесь тоже обойдусь. "Ось"! Да я лучше сам журнал открою. Понимаешь, камрад? А если понимаешь — зачем тогда потащил меня к этим девкам? Я ведь, даже двух слов с ними сказать не могу. Валить их — и все? Нет, так неинтересно.

Нищий выслушал Вадима Соловьева с покорным видом, не мешая ему и не перебивая. В отличие от Вадима, звучание чужой речи было ему совершенно неинтересно; точно так же он не прислушивался бы к речи китайской или к шуму ветра. Нищий думал об этом русском, об этом славном парне, о том, зачем он дал ему, нищему, денег, зачем кормил его и поил. Он искренне хотел отблагодарить Вадима — и его отказ от льготных услуг проститутки огорчил его и как бы даже обидел. Этот неожиданный отказ, однако, еще более укрепил нищего в его желании доставить Вадиму приятное, душевно отплатить ему. Такая отплата была нужна и приятна прежде всего самому нищему; и в последнем плане, составленном нищим для собственного удовлетворения, Вадиму Соловьеву отводилась второстепенная роль.

Вадиму казалось, что идут они бесцельно, куда несут их ноги, туда они и идут. Разговаривая сам с со-

бой, обстоятельно доказывая себе свою правоту и неправоту всего остального мира, он уже почти забыл о медвежьей услуге нищего и был благодарен ему за эту ночную прогулку. Пора было и спать ложиться, и, когда нищий остановился перед грязной дверью в темном, грязном дворе, Вадим был уверен, что его товарищ привел его к себе ночевать. Вид вонючего двора, освещенного высокой луной, и приземистых, как бы присевших на корточки домишек вполне соответствовал представлениям Вадима Соловьева о жизни западных нищих. Ну, что ж, встретить он, Вадим, такого отличного нищего в Москве — он бы тоже привел его ночевать в свою московскую конуру и нищий, наверняка, воспринял бы это как должное.

Ощупью поднялись они на один пролет крутой каменной лестницы, и нищий, отдуваясь, решительно забарабанил в дверь кулаком. Собака стояла рядом и колотила хвостом по ноге Вадима. Вадиму это было неприятно, он отодвинулся.

Дверь открыла женщина лет тридцати, заспанная, в ночном халатике, накинутом впопыхах. Отодвинув женщину, нищий шагнул через порог и, по неосвещенному коридорчику проведя Вадима в тесную кухню, включил там свет. Следом за ними вошла и женщина и, кутаясь в короткий халат, выжидающе остановилась в дверях.

— Май дотер! — указывая на женщину, сказал нищий, а потом перешел с английского на итальянский. — Миа филья! Суо марито ста ин приджоне. Ла фарай фоттере!\*

Вадим Соловьев улыбался приветливо. Такого ни-

\* (итал.) — Моя дочь! Ее муж сидит в тюрьме. Ты будешь ее е.ть.

щего человека поискать надо! Конечно, нет у него никакого дома, вот он и привел Вадима к дочери, поднял ее с кровати среди ночи.

А нищий, словно бы окончательно утверждая приговор, поднял руки на уровень своего лица и, примитивно действуя грязными искривленными пальцами, показал, что Вадиму Соловьеву надлежит сейчас сделать с этой женщиной, озадаченно стоящей в дверях, в распахнувшемся халатике. До нее, видно, дошел смысл сказанного и продемонстрированного, но она ждала разъяснений.

Понял и Вадим и, вздохнув, шагнул к двери.

— Простите! — пробормотал он, протискиваясь между женщиной и дверным косяком.

Нищий нагнал Вадима уже во дворе.

— Чудак ты человек! — сказал Вадим Соловьев и обнял нищего. — Я ведь понимаю: ты мне дочь хотел отдать, больше у тебя ничего нет. Спасибо тебе, амиго! — он прижал нищего к себе, гладил его по плечу. — Я этого не забуду никогда.

Нищий тихонько отстранился, по-новому поглядел на Вадима.

— Теперь понятно... — покачивая головой, сказал нищий.

Здрав плащ, он, кряхтя, расстегнул штаны, спустил их до колен, и, повернувшись к Вадиму задом, согнулся в поясе. Вадим, оторопев, молча глядел на дряблые, желтые в желтом свете луны старческие ягодицы.

Потом Вадим подался назад, как от внезапно открывшейся перед ним трещины и, легко касаясь земли, бросился бежать прочь. Ему было страшно.

Он бежал долго — до чугунного онемения ног и режущего дыхания. Ему безотчетно хотелось очутиться в лесу, в безлюдном тихом лесу, быть может, в

березовой роще, не густой, чтоб от дерева к дереву можно было идти по чистой земле, застланной листьями.

Он и попал в какой-то парк, и с отвращением, почти тошнотным, обнаружил там мощные пинии, сквозь круглые кроны которых с трудом пробивался лунный свет. Меж стволами были установлены скульптуры, собранные из металлических труб, рельсовых балок и железобетонных конструкций. Перед каждой скульптурой помещалась мраморная дощечка с выбитым на ней именем автора и годом его рождения на свет. Никого не было в парке, и, бродя от скульптуры к скульптуре, Вадим с презрением и страхом вглядывался в исковерканные железные обрубки, в свисающие цепи, в раскачивающиеся, как на виселицах, тускло блестящие шары. Скульптуры были все разные — и все одинаковые, как мусорные свалки. Серый мрамор дощечек, похожих на маленькие кладбищенские надгробия, смирял и успокаивал, и Вадим, не глядя больше на скульптуры, стал разбирать аккуратно высеченные свежие надписи. Имена ничего ему не говорили, и было только немного тревожно, что все эти люди, поименованные на дощечках, в ночном парке, похожем на кладбище, живы и здоровы, и живут, быть может, в соседних домах или соседних городах.

Бредя по ухоженной, богатой траве парка, Вадим вдруг наткнулся, ударился ногой об острый край черного в тени ящика и со смущением обнаружил перед собой гроб с откинутой крышкой, лежащей на земле рядом с гробом. Один глаз мертвеца был открыт, другой покойно зажмурен, руки были сложены на груди. Мраморная дощечка уведомляла по-

сетителя о том, что экспонат № 17 изваял Пьетро Концони, год рождения 1944.

Вадим Соловьев сел в траву около гроба и, облокотившись о его край, долго глядел на лицо мертвеца. Здесь, среди мертвых цепей и рельсов человеческий мертвец в гробу казался ему почти братом. Наклонившись, Вадим поцеловал мертвеца в холодный бронзовый лоб и сказал:

— Было бы лучше, если б я остался спать с этой его дочкой...

Посидев у гроба, Вадим поднялся на ноги и пошел к выходу из парка. На арке ворот значилось: "Гостиница Континенталь". И было изображено в ряд пять звезд.

Идя по незнакомым безлюдным улицам, Вадим Соловьев просил Бога: "Бог, я ведь нечасто тебя беспокою своими просьбами. Сделай так, пожалуйста, чтобы я никогда в жизни не вспоминал этот двор, и этот желтый зад старика в задранном плаще". Вадим шагал, не глядя по сторонам, и повторял эту свою просьбу на разные лады, избегая грубых слов, которые копились в нем и кипели, как пена. В перерывах между ясными и короткими обращениями к Богу он проклинал матерно старика, город Рим и весь мир до основания, а потом, окрепнув, начинал снова: "Пожалуйста, Бог, уничтожь это раз и навсегда: двор, желтый зад старика, стоящего согнувшись". Он уже почти верил в то, что Бог так и сделает, он чувствовал, как эту черно-желтую картинку чья-то рука вытягивает из его памяти, как карту из колоды.

Он перевалил невысокий холм, застроенный дворцами, миновал площадь с бронзовым всадником на постаменте. Справа от него открылся покаты́й травя-



ной газон за жидкой оградой. Он уже занес ногу, собираясь перелезть через ограду и отдохнуть немного, полежать в траве до рассвета, когда увидел на краю газона, перед кустами, понурую ободранную волчицу. Опустив ногу и держась руками за кромку ограды, Вадим Соловьев стал разглядывать зверя.

— Эй, ты! — позвал Вадим и пошатал, потряс заборчик. — Иди-ка сюда, сука рваная! Я знаю, тебя тут специально поселили — на этой вонючей древней помойке. Ах, ты, сука! Чтоб ты сдохла, чтоб ты провалилась вместе с этим проклятым городом! Я не хочу больше вас видеть ни секунды, не хочу жрать ваши грязные макароны. Ну, что ты уставишься на меня, чертова проститутка? Здесь даже чай не пьют, чай! На хрена мне все эти древние камни, когда здесь нет ни одного нормального человека! А я еще хотел здесь жить, дурак, дурак! Да лучше жить в какой-нибудь гнусной Калуге... Лучше к Рогову поехать, в Париж — там хоть по-русски можно с человеком поговорить, он не будет молчать, как ты, блядь итальянская, чтоб ты сдохла! Кто тебя сюда посадил, зачем? Тебе надо в лесу бегать или в зоопарке сидеть, это ж только сумасшедший не понимает. Какого хрена ты тут торчишь, вместе с этими проклятыми развалинами!

Вадим Соловьев говорил к газону — кормилица Рема и Ромула, послушав русскую речь, свесила тощий хвост и ушла в кусты, и ее не стало видно.

Перед рассветом ноги принесли Вадима Соловьева на вокзальную площадь. Высокие просторные помещения вокзала были почти свободны от людей, а те, что находились здесь, раскинулись в креслах или спали на полу, в спальных мешках. Поэтому Вадим быстро

нашел того, кого искал: старый индус сидел на мраморной лавке, в верхнем зале, и сосредоточенно глядел перед собой. Облегченно вздохнув, Вадим подошел и сел рядом с индусом, не слишком близко. Индус не пошевелился, не взглянул на нового человека.

До рассвета оставалось полчаса или сорок минут.



## 5. ПАРИЖ. ШАРМАНКА С ПЛОЩАДИ ТЕРТР

Состав втягивался в Париж медленно, и это нравилось Вадиму Соловьеву. Стоя в коридоре вагона, он разглядывал в окно розоватые влажные дома под черно-бурыми крышами и людей, объединенных одним общим, приятно волнующим душу неискущенного человека именем — парижане... Только вот Эйфелевой башни нигде не было видно, сколько Вадим ее ни искал.

Ветреные парижане, гурманы, гулены и весельчаки! Модники и модницы, моты, усатые красавцы и потрясающие красавицы, завернутые в прозрачный шелк или вовсе развернутые для всеобщего обозрения! Галантные и отважные потомки мушкетеров короля и гвардейцев кардинала!.. Вадим Соловьев знал о парижанах все, что следует о них знать приезжему московскому литератору.

Вертя головой, он искал на парижском перроне Рогова, а нашел Рубинчика.

— Ну, вот и ты! — сказал Рубинчик, требовательно оглядывая Вадима. — Нашего полку, значит, прибыло. Теперь, может, "Ось" раскрутим как следует. Глав-

ное — нащупать рынок, и тогда мы перевернем мир... Литературный, я имею в виду, рынок, — пояснил Рубинчик и озабоченно нахмурился.

— Ты погоди, Петя, погоди... — остановился Вадим и сумку свою опустил на перрон. — Значит, печатают нас здесь?

— Нет, не печатают, — твердо сказал Рубинчик. — Н а с — не печатают. Бездарь всякую печатают, а нас — нет... Да кто они такие, я тебя спрашиваю? — повысил голос Петя Рубинчик и взмахнул рукой в опасной близости от лица Вадима. — Дед Мазай этот кривой со своей "Точкой" — сам ее всю пишет от начала до конца, сам печатает, сам продает и сам покупает. Или "Октябрь" местный — "Собор" называется — там кто? Середяков, думаешь? Как же, разбежался! Середяков там для понта только, а все дела делает эта сволочь, эта стерва припадочная — Танька Гречишкина! Боже мой, Боже мой, и это лицо русской литературы: Мазай, Гречишкина, Иванов еще... Но мы "Ось" раскроем, мы им всем покажем!.. А ты, однако, не изменился. Ну, здравствуй!

Они обнялись, Рубинчик трижды чмокнул воздух около щек Вадима Соловьева.

— А ты уже, как местные, — удивился Вадим. — Они тоже так целуются: ни себе, ни людям.

— С волками жить — по-волчьи выть, — объяснил Петя Рубинчик. — Что с них, с дурья, взять?

— По-французски научился? — любопытствовал Вадим.

— Да на кой он мне! — пожал плечами Рубинчик. — Я что сюда — французский, что ли, приехал учить? И тебе не советую голову этой ерундой забивать; нам работать надо, писать.

От таких разговоров у Вадима Соловьева приятно

кружилась голова и легко, хрустально позванивало сердце. С мимолетной жалостью вспомнил он Захара, Мышу; вот им бы сюда надо, в Париж. Париж — русская литература, русские журналы, газеты, издательства, русская речь! Остается только свободно завоевать все это. Рубинчик, правда, говоря по чести, писал в России дерьмо какое-то, да и Рогова с его закидонами понять можно было только с пятое на десятое. Ну, да ладно! Эх, раз, еще раз, выхожу на Монпарнас! Там, кажется, художники живут. А Большие бульвары — они чем хуже? Садовое кольцо, Большие бульвары. Въехать бы в какой-нибудь подвал на Больших бульварах, устроить там московскую Конуру: цейлонская заварка под батарейкой, пишущая машинка. Девку какую-нибудь завести для порядка: Катю, Машу или, на худой конец, Маргошку какую-нибудь.

— Слушай, Петя, — с удовольствием вдыхая прохладный воздух, сказал Вадим Соловьев. — Большие бульвары — где это? Поедем, поглядим!

— Большие, маленькие! — досадливо поморщился Рубинчик. — Какая разница? Мы в Замок едем, это тоже на поезде надо, пятнадцать минут. Вон там через рельсы перейдем, тогда можно без билета.

— Не поймают? — обеспокоился Вадим Соловьев.

— Чего там... — отмел Рубинчик. — В первый раз, что ли? Чего им, французам, платить — они и так богатые, перебьются как-нибудь.

Вадиму досадно было уезжать из Парижа, так и не пройдя по нему ни шагу, и ехать к Рогову, в Замок. Еще в Москве, от знающих приятелей, Вадим слышал об этом Замке — бастионе русской культуры в самом сердце просвещенной Европы, неприступном каменном красавце посреди векового парка. Вадиму ни-

когда еще не приходилось бывать в настоящем замке, где в вестибюле, может, стоят в нишах рыцарские доспехи, а в камине можно изжарить корову или быка. Это все было очень заманчиво и интересно, и только одно-единственное сомнение смущало Вадимову душу: каким образом Рогов, Женька Рогов пробрался в этот Замок, сидит там среди доспехов и спит чуть ли не в королевской кровати с балдахином и гербом? Присутствие Женьки Рогова, в недавнем прошлом дамского мастера из парикмахерского салона на улице Дзержинского, весь Замок погружало в какие-то сомнительные полутона. Женьки Рогова, которого московские литературные остряки с золотыми зубами называли лучшим прозаиком среди парикмахеров и лучшим парикмахером среди прозаиков. Дело было даже не только и не столько в обидном звании, сколько — и Вадим был убежден в этом бесповоротно — в том, что Роговская проза могла заинтересовать разве что заядлого кроссфордиста. Кого же здесь, в Париже, Рогов смог провести своими штучками и вселиться в Замок, в спальню французского короля?

— Ты тоже в Замке живешь? — спросил Вадим, покосившись на Петю Рубинчика.

— Живу, живу, — подтвердил Рубинчик. — А ты где собираешься жить — в гостинице, что ли? У нас там ребята боевые подобрались.

— А он — древний? — с надеждой спросил Вадим.

— Кто? — не понял Рубинчик.

— Да Замок, — пояснил Вадим.

— Кто его знает... — призадумался Петя Рубинчик, как будто такая мысль впервые пришла ему в голову. — Пока стоит, не развалился.

— А ров — есть? — спросил Вадим. — Вокруг Замка?

— Какой там ров? — повернулся Рубинчик к Вадим.

му. — Ты что — того, что ли? Рва только нам не хватало...

От полустанка до роговского Замка пешим ходом добрых двадцать минут — сначала вдоль путей, потом в сторону, в глубь. Зарядил тяжелый, сплошной дождь, перемешанный со снегом. Рубинчик и Вадим Соловьев шли по светлой, мокрой тропинке, одежда их промокла, обувь тоже, они, как птицы, втягивали головы в плечи. Дождь, гремящие поезда, лес, покрытый черным лаком — все это будоражило Вадима и радовало, как праздничное утро: впереди день, и вечер, праздник, уйма времени, и непременно что-то должно случиться приятное и памятное.

Вскоре за поворотом пошла то ли деревня, то ли поселок; попадались тут рядом со старыми, двухэтажными, и серые новые, пяти-шестиэтажные дома с городскими стеклянными парадными. В тупике улицы Рубинчик подвел Вадима к обветшалой каменной арке, в которой висели когда-то, в давние времена, створки ворот. На стыках ноздреватые и желтые, цвета старой кости камни арки разошлись и округлились.

— В ворота и направо, — сплевывая дождевую воду и отфыркиваясь, указал Рубинчик. — А я за бутылкой сбегаю, а то простудимся к черту. Ну, погодка!

В глубине обширного двора, сплошь залитого водой, стоял длинный двухэтажный дом с подъездом посередине. Острроверхая коньковая крыша, крытая черепицей, была украшена по торцовым скатам двумя декоративными башенками, не имеющими хозяйственного назначения. В каждый этаж открывалось по двенадцати высоких окон, закрытых и забитых щитами из почерневших досок. Дым, казалось, уже много лет не восходил над мощной трубой, более всего дома имевшей вид запущенный и одичалый.

Не обнаружив во дворе никакого другого строения, напоминающего замок, Вадим Соловьев шагнул в арку. Справа и слева от нее, прилепившись к высокому глухому забору, горбились то ли службы, то ли убогие жилища дворни. Вадиму вдруг стало холодно, зябко до противного озноба, и он торопливо шагнул от дождя в первую же дверь.

Перед ним открылся сырой нетопленный коридор; пройдя его насквозь, Вадим наткнулся на другую дверь, обитую то ли одеялом, то ли какой-то старой одеждой, и постучал сначала тихо, деликатно, а потом, не получив ответа, посильней. Но ответа так и не было, и Вадим, прижав ухо к тряпью обивки, услышал звуки музыки: то ли радио играло, то ли патефон. Стукнув еще раз кулаком по мягкому, Вадим потянул дверь и вошел в теплую тесную комнату, загроможденную множеством домашних вещей. Среди вещей, вполоборота к Вадиму, сидела на низкой широкой тахте голая женщина средних лет и расчесывала волосы гребнем. Повернув голову к вошедшему человеку, женщина не опустила рук и продолжала заниматься своим делом. Ее груди, в такт длинным и плавным движениям, приятно покачивались.

— Извините... — пробормотал Вадим, отступая к порогу.

— Ничего, — сказала голая женщина более, пожалуй, приветливо, чем смущенно.

Во дворе по-прежнему не было никого, и Вадим, наметив покосившуюся службенку напротив, побежал к ней, шлепая по лужам. Войдя, он чуть не упал: лестница с порога вела вниз, в полуподвал. В смутном свете полуподвала сидел за конторским столом, лицом к Вадиму, плечистый чтарик с сивыми толстыми волосами, аккуратно расчесанными на прямой пробор. Он



словно бы вел здесь служебный прием посетителей, этот старик, и Вадим обратился к нему:

— Здравствуйте!

— Также и вы, — немедля откликнулся старик, буравя Вадима серыми алмазными глазами.

— Не скажете ли, — продолжал Вадим, — как к Рогову пройти?

Старик не шелохнулся, но напрягся и набычился, словно бы услышал оскорбительный вопрос, имеющий под собою почву. Алмазные его буравчики заработали на полную мощность; казалось, он хотел продырявить Вадима Соловьева в нескольких местах.

— Вы имеете в виду Ругермана Евгения Мошкови-ча? — молвил, наконец, старик ровным голосом.

— Я точно не знаю, — поднял мокрые плечи Вадим. — У него, вроде, была какая-то другая фамилия. А что такое?

Сильные руки старика передвигали и перекладывали настольные предметы: нож для разрезания бумаги, карандаши, массивную чернильницу без чернил.

— Да будет вам известно, молодой человек, — сверля теперь ноги стоящего Вадима, заговорил старик, — что вы находитесь на территории приюта для православных младенцев — жертв большевистско-жидовской оккупации. Я, как директор приюта и истинно русский человек, с жидами дел не веду. Вам ясно?

— Понятно, — сказал Вадим Соловьев. — Но Рогов-то — он здесь? Он где живет?

— Не желаю знать, — голос старика дрогнул, в нем звучала теперь горечь и усталость. — Извольте выйти, молодой человек.

Станный человек, — размышлял Вадим Соловьев, гадая, куда ему податься и где искать Рогова, — анти-семит чистых кровей. И какие там православные мла-

денцы, где он их возьмет? Если они должны быть жертвами революции, то они уже старики, а не младенцы. А если они младенцы, то кто разрешит отправлять их сюда из России? И, вообще, где они тут? Рогов и Рубинчик под эту категорию не подходят ни по какой статье, эта голая тетка — тоже. Кто же тогда православный младенец — я, что ли? Моего папашу хватил бы удар, если б он знал, куда меня занесло... А этот сивый старик здорово, видно, обижен на евреев. Что они ему, интересно, сделали? Ну, Христа распяли — но Рогов тут ни при чем. А здесь, во Франции, что они не поделили?

Вадим озирался, стоя посреди двора. Подлый Петька Рубинчик! Не мог объяснить толком, куда идти... Этот сивый, надо думать, Петьку Рубинчика тоже не жалуется.

Оконце в первом этаже флигелька приотворилось, и раздался немзыкально поющий голос:

— Что Соловьеву знаки Зодиака?

И сам он Пес, и знак его — Собака.

Вадим поднял голову и увидел в оконце Рогова, размахивающего рукой.

— Давай сюда! — закричал Рогов, свешиваясь из окна. — Вот в эту дверь и наверх!

Вадим Соловьев обрадовался явлению Рогова и московским стишкам, придуманным кем-то в Конуре и читанным там неоднократно, под рюмку водки. Да, Париж, все же — не Вена и не Рим, будь он проклят.

После объятий, охлопываний и взаимного покачивания головами Вадиму был выдан, взамен его мокрой насквозь одежды, драный махровый халат с кушаком. Расстегнув уже штаны, Вадим запоздало оглянулся на высокую худую женщину, стоявшую, кутаясь в платок, в углу кухоньки.

— Ничего, ничего, — успокоил Рогов. — Это моя жена, Галя ее зовут.

Сколько помнилось Вадиму, в Москве у Рогова была совсем другая жена — говорливая маленькая брюнетка, игравшая на барабанах в женском оркестре ресторана "София". Но Вадим ни о чем не стал расспрашивать Рогова; повернувшись спиной к молчаливой Гале, он сбросил мокрое и накинул теплый банный халат. Штаны и куртку он хотел было положить на батарею — просушить, но Рогов предупредил его:

— Не работает отопление, Шишков проклятый испортил. И пробки выкручивает, гад, каждый вечер... Мы, знаешь, ползимы тут в пальто просидели, а потом керосиновую печку достали. Прямо война с этим Шишковым!

— Кто ж это будет? — заинтересовался Вадим.

— Антисемит, — сообщил Рогов. — Дурак старый. Он раньше тут жил, наверху, а я его вниз согнал. Он со мной уже и судился, и что хочешь. Ему автомат дай — он меня застрелит... А я в этой квартире музей русского народного искусства организовал: прялки, наличники, из лыка кое-что есть. Да ты сам поглядишь!

— Я его видал, этого Шишкова, — сказал Вадим. — Сердитый тип.

— Да и я на его месте был бы сердитый! — миролюбиво заметил Рогов. — Они бы меня давно отсюда поперли, если бы не музей. А я музей на свое имя зарегистрировал. Где ж ему еще быть, музею русского искусства, как не здесь? В синагоге, что ли? Поэтому суд все время за меня.

— Кроме того, я чистокровная русская, — подала голос молчаливая Галя. — Так что мы имеем право здесь жить по закону. Я, между прочим, русей этого хулигана.

— Он из жмудей, этот Шишков, я точно знаю, — дал справку Рогов. — Жмудь болотная!

— А в Замке нельзя, что ли, музей устроить? — спросил Вадим. — Там места вон сколько... И старик бы тогда же обижался.

— Какой там Замок! — досадливо махнул рукой Рогов. — Там все развалено, на один ремонт миллионы и миллионы нужны. А топить? А электричество?.. Галка, ставь чайник — супу разведем.

Зазвонил телефон на холодильнике, и Галя пошла послушать.

— Меня нет! — прошептал, прикрывая рот ладонью, Рогов. — Нет и неизвестно!

— Это Петька Рубинчик, — послушав, Галя передала трубку Рогову. — Куда он делся?

Послушал и Рогов и, сказав "Сейчас спрошу", отложил трубку в сторону.

— Он в аптеке, — объяснил положение Рогов, — за спиртом пошел для водки. Он хочет чекушку взять, а как сказать "двести пятьдесят" забыл. Ну, как это будет?

— Дэ сан сэнкант, — сказала Галя.

— Дэ сан сэнкант, тупица! — передал в трубку Рогов. — Запомнить, что ли, не можешь? Ну, давай, давай!

После прихода Рубинчика и принятия разбавленного водой спирта разговор пошел рысью. Откинувшись в полосатом шезлонге, отведя руку с зажатым между пальцами длинным янтарным мунштуком, Рогов рассуждал о путях свободной русской литературы и будущем журнала "Ось", в редколлегию которого Вадим Соловьев был тут же и введен. Вадим слушал весь этот треп, поджав губы: выходило так, что не было покамест ни материалов, ни авторов, ни редак-

ции — а были только Рогов, да Рубинчик, да член редколлегии Вадим Соловьев и еще Колодный, который служил временно в зоопарке кучером пони на детской площадке и это обстоятельство помешало ему приехать сегодня в Замок, на встречу с Вадимом.

— Ты ничего не понимаешь, — поводит длинным мундштуком Рогов. — Твои "Мощи" годились в Москве, а здесь за них ломаного гроша не дадут. Они здесь ничего не понимают в литературе и писать не умеют! Думаешь, им здесь нужна правда о России? Держи карман шире — ничего не упадет! Порнограф им нужен, порнограф русский — это они сожрут, и наши русские тоже косточки обгложут. Большой негр и Манька рязанская — это неплохо, или, еще лучше, большой негр и какой-нибудь Эдик-педик харьковский. Если мы это не напишем, кто-нибудь нас обскачет, вот увидишь! Ты только представь себе: ты сидишь в Америке и рубашешь гречневую кашу из самовара, и такая тебя берет тоска, хоть со сто второго этажа кидайся. Жена тебя бросила, твоя славянская душа ищет жалости и утешения. И вот тут появляется большой негр... Напиши, Вадик! "Петрушка в Нью-Йорке" можно назвать.

— Да брось ты... — скривился Вадим. — А почему, кстати, в Нью-Йорке?

— Чем западней, тем лучше, — объяснил Петя Рубинчик. — Это здесь каждый понимает. Центр — там, а здесь выселки какие-то несчастные.

— Да-да, нам чем позападней, — поддержал Рогов. — А то советские товарищи сюда уже днем в окошко лезут, а местные большевички им лесенку подставляют... За океаном, говорят, поспокойней.

— И там — рынок, — с тоской в голосе добавил Петя Рубинчик. — Здесь тебе не Советский Союз, здесь,

если писатель не котируется на рынке, он — ноль, пустое место.

— Но наши русские! — чуть ни простонал Вадим Соловьев. — Там ведь они нас читали!

— Скрежет зубовой в пустыне, — прокомментировал Женя Рогов. — Брось дурака-то валять — там ... Там Софья Власьевна на лавке сидит. Скажи еще спасибо, что ГБ тебе кишки не выпустила, что мы не в Потье, а в Париже.

— А Эйфелева башня — это здорово? — с надеждой спросил Вадим.

— Башня как башня, — проворчал Рогов. — Я там не был, у меня свои дела есть... Можно, говорят, на метро доехать. Ты посмотреть, что ли, хочешь?

— Да хотелось бы... — промямлил Вадим Соловьев, чувствуя, что и Рогов, и Рубинчик, и молчаливая Галя глядят на него со снисходительным укором.

— Да, бывает, — после паузы вынес суждение Рогов. — В первый день это некоторым хочется. Потом проходит.

Было совершенно ясно, что эти "некоторые" никак не относятся к числу лучших представителей рода человеческого.

— А вот сыр у них здесь неплохой, — ни к селу, ни к городу сообщил Рубинчик.

— Но — воняет! — угрюмо возразил Рогов. — Пойдемте лучше музей поглядим.

Вадим с охотой поднялся из-за пустого, какого-то унылого стола — хотелось куда-то идти, хоть в другую комнату, из этой убогой кухни.

— Капа, Капа! — позвала молчаливая Галя, и тотчас из обувной коробки, стоявшей в углу под вешалкой, выпрыгнула грязно-белая болонка с выпученными глазами.

Хозяйка взяла собаку на руки, спрятав руки в ее шерсти, как в муфте. Неприязненно глядя на болонку, Вадим Соловьев тихо радовался тому, что сначала не заметил животное и не ощущал его присутствия все это время.

В музей шли извилистым узким коридором — впереди мужчины, потом Галя с собачкой. Отперев дверь в просторную темную комнату, Рогов щелкнул выключателем, и под потолком вспыхнула мощная лампа без абажура. Под ярким светом, точно посреди комнаты, обнаружился, к веселому смущению Вадима, высокий крендель кала.

— Опять Капа наделала! — легко нашелся Рогов. — Вот стерва...

Спущенная с рук, Капа заинтересованно подошла к кренделю и стала около него, как коза у пня.

— Надо бы убрать, — указал Рогов жене и очертил круг длинным мундштуком.

— Ну, убери, — согласилась молчаливая Галя, скучно глядя на мужа. — Капа, отойди оттуда!

По углам комнаты стояли старинные самовары, с потолка на бечевке свешивались две пары лаптей — одна новая, другая сбитая, темная. По одной стене висели иконы, по большей части без окладов, металлические кресты и складни. Другая стена была украшена резными наличниками, между которыми покоился на крюках тяжелый цеп. Берестяные туески и деревянные солонки стояли на отдельной полочке.

— Цеп музейный, — дал разъяснение Рогов. — И наличник вон тот, не говоря уже об иконах.

— Это миллионы! — печальным и глухим голосом сказал Рубинчик. — А мы на первый номер "Оси" никак денег не наскребем...

— Не будем об этом, Толя! — Рогов направил в сто-

рону Рубинчика янтарную пику мундштука, как бы защищаясь от нападения. — Ты же знаешь, — он повернулся к Вадиму, приглашая и его к этому уже открытому Пете Рубинчику знанию, — я не продам отсюда ничего, ни туесочка. Не то что мне жалко, — теперь он говорил к Вадиму Соловьеву, терпеливо объяснял ему, — но просто я люблю все это. Я понимаю, что это не музей, что это, может, карикатура на музей. И все же здесь есть кое-что, для начала.

— А "Ось"? — с напором спросил Рубинчик. — Это что, менее важно?

— Вот посмотри, — не отвечая, Рогов поманил Вадима к хрупкой прялке, густо покрытой узорной резьбой. — Это с Севера, из-под Архангельска, вот тут у меня все записано...

Свет погас некстати, в темноте нельзя было различить стен. Вадим Соловьев остался терпеливо стоять на месте, боясь вступить в дерьмо.

— Это Шишков, подлец такой, — без раздражения сказал Рогов. — Пробки выкручивает. Как я сюда веду кого-нибудь, он всегда выкручивает пробки.

Галя, нащупав дверь, распахнула ее и закричала громким, высоким голосом:

— Жмудь проклятая! Зараза! Это ты тут наклал, мордва вонючая!

— Я русский человек и христианин, — немедля откликнулся Шишков из подозрительной близости. — И с вами, госпожа Ругерман, я не желаю разговаривать.

— Сам ты жид! — парировала Галя. — Чтоб ты сдох, гад такой!

— Безобразие! — подал голос и Рогов. — Хулиган!

— А вам, Евгений Мошкович, я советовал бы призадуматься, — отчеканил Шишков. — Я вас выведу на чистую воду!



— Плевали мы на твои советы! — сообщил Рубинчик во тьму коридора. — Вот Грузберг придет, тогда мы тебе покажем! Весь Замок к нему перейдет!

На эту угрозу Шишков не ответил.

— Бойтся, — подвел итог Петя Рубинчик, выглядывая в коридор. — Ему отсюда только на кладбище съезжать.

— А кто это — Грузберг? — спросил Вадим Соловьев, пробираясь по коридору вслед за Рубинчиком. — Я что-то не помню...

— Да никто, — хмыкнул Рубинчик. — Это я просто так, пугнул его на всякий случай.

После происшествия в музее кухня не показалась такой убогой — а теплой и обжитой до приятной вони. Галя отлучилась куда-то ненадолго и вернулась с початой бутылкой то ли водки, то ли не водки — прозрачной какой-то хмельной жидкости, противно пахнувшей каплями датского короля.

— И как они ее тут пьют! — показно возмутился Петя Рубинчик. — Еще водой доливают, она тогда становится белая. Смех один!

— Ну, может, они привыкли, — примирительно заметил Вадим. — До нас же пили — вот и теперь пьют.

— А вино! — кисло сморщился Рогов. — В Москве я за бутылку французского какого-нибудь бордо полсотни бы отдал: шик! А здесь в глотку не идет кислятина эта... Вот так все меняется на свете, — несколько неожиданно заключил Рогов.

— Ну, это уж слишком! — возразил Вадим. — Вино вином, а чернила — чернилами: бери бумагу, пиши... Сами мы меняемся, это может быть.

У него вдруг что-то сместилось внутри, у сердца, сгустилось до свинцовой тянущей тяжести. Ему захо-

телось спорить, отбиваться, не принимать вот этого страшного и бесповоротного "все меняется на свете". Он, Вадим Соловьев, был и остается русским литератором. Он там писал — будет писать и здесь, и не имеет никакого значения, что пьют и едят французы и что об этом думает Женя Рогов. Жалко, что Рогов так быстро изменился, да и Рубинчик тоже. Жалко, больно.

— Ты тоже изменишься, подожди немного, — ударил по больному Рубинчик. — Женька дело говорит про порнографию: в Москве ты не стал бы этой мурней заниматься, а здесь сядешь, напишешь как миленький: надо. А другой вообще писать бросит, пойдет в лавку торговать: тоже надо.

— Жрать захочется, так пойдет, — вставила молчаливая Галя и косо, зло взглянула на Рогова. — Не у всех же жены за двоих вкальвают.

Рогов плавно повел рукой, кисть его проплыла в воздухе, длинный желтый мундштук указал вверх, в потолок — словно бы он переадресовывал озабоченную жену к иным, высшим инстанциям.

— Продай ты эти дрова! — не принимая посылы, вскинулась Галя. — Тоже мне, музей... Хоть ушли бы из этого гадюшника!

— Не продам, — твердо сказал Рогов. — Вплоть до развода. Во имя свободной России я сохраню эту коллекцию!.. И потом, Галя, не все ли равно, где ждать — здесь или в другом месте? Мне здесь неплохо.

— Опять — двадцать пять... — вздохнула Галя и сгорбила плечи под теплой шалью. — Чего ждать-то, чего? Ты хоть бы подумал, а потом бы уже болтал.

— Возвращения домой! — Рогов светло взглянул на Вадима, а потом на Рубинчика. — Мы здесь не в изгнании — мы в послании. Мы вернемся в свободную Россию!

— На белом коне или на белом мерседесе? — съязвила Галя.

— На белом танке, — вынес реалистичное суждение Рубинчик.

— И музей, и "Ось" — это наше оружие, — не принял насмешки Рогов. — В исторической перспективе, — рука Рогова снова пришла в движение, рывками поплыл мундштук, зажатый между тонкими пальцами, — мы должны победить, и русский народ...

Из подвала донеслось надсадное громкое пение. Так поют иногда русские люди после второго или третьего стакана водки; состояние их души тревожно и сладко, они поют о том, о чем следовало бы плакать в церкви или перед смертью... Шишков, как видно, праздновал свою сегодняшнюю победу над Роговым-Ругерманом.

Жида обсели бедную Россию, —

пел Шишков, —

Абрашки грабят наш родимый дом.

Мы сокрушим жидовское засилье.

Вернемся мы и Русь себе вернем!

Богата бедная Россия жаждущими вернуться.

Хорошо, все-таки, когда есть у человека место, куда он хочет вернуться — об этом рассуждал Вадим Соловьев, бредя по парижской, по-кошачьи ласковой улице и жуя длинный хрусткий батон, который с каждым откусом становился все короче. Нет, не березовые рощи и не васильковые поля мерещились Вадиму местом желанного возврата — а его Конура на Самотеке, ее утра и вечера, и люди, спускавшиеся туда по вонючей лестнице, знакомые и почти что и

незнакомые люди, приходившие в Конуру к Вадиму Соловьеву, литератору. Окажись Конура вот здесь, в подвале этого дома, на этой улице с непроизносимым названием — и все было бы в порядке. Конура и три десятка знакомых и почти незнакомых. И еще сколько-то там вовсе незнакомых — но читавших "Мощи" и кое-что из рассказов. Сколько их? Горстка, в сущности, капля! А вот перенеси эту горстку, которую здесь никто и не заметит и на которую никто внимания не обратит, сюда, в Париж — и Вадим Соловьев будет совершенно счастлив... Действительно, Бог, неужели счастье одного человека не стоит Твоего вмешательства?

Вот уже неделя, как Вадим, разругавшись с Женей Роговым, вышел из состава редколлегии журнала "Ось" и съехал из Замка. Женя молча размахивал своим мундштуком и не удерживал Вадима, зато Рубинчик, нагнав его уже по дороге на станцию, предложил свой вариант.

— Между нами говоря, Рогов никакой не писатель, — поспевая за широко шагавшим Вадимом, сказал Рубинчик. — Он как был парикмахером, так им и остался. А мы с тобой — прозаики, здесь таких нет, как мы! Давай начнем свой журнал, без всяких там Роговых, назовем его "Слово". Я — редактор, ты — зам. Ну? Решай! За нами пойдут, вот увидишь.

Вадим Соловьев не стал спрашивать, кто за ними пойдет и зачем. Он остановился, огляделся вокруг и сказал Рубинчику:

— Гляди, Петя, вечер опускается на деревья вместе с птицами. Что это за птицы, ты не знаешь?

Огляделся и Петя Рубинчик, и не заметил на деревьях никаких птиц.

— Ты что? Какие птицы? — спросил он, но Вадим

уже шагал от него, помахивая своим баулом. Вздохнув, Рубинчик покачал головой и побрел обратно в Замок.

Знакомству с Ксенией Князевой, у которой теперь Вадим проживал в гостевой комнате на втором этаже, он был обязан Рогову. Как-то, с полмесяца назад, Ксения подрулила к Замку на своем фиатике и, поднявшись в кухню, поставила на стол большой бумажный мешок с ветчиной, сыром, порошковой картошкой и вином. Все это пришлось очень кстати, и впридачу Вадим получил приглашение заходить запросто и оставаться ночевать без церемоний: дом большой, Ксения любит русских и русскую литературу, а ее муж, хоть и чудный человек, по-русски не понимает ни звука и, всецело занятый своими делами, далек от литературных проблем.

Приехав в Париж после ссоры с Роговым, Вадим позвонил Ксении, зашел и остался. Через два дня, оттаяв в теплом доме, он объяснил хозяйке причину ссоры: по его, Вадимову, мнению журнал "Ось" — это просто издевательство над русской литературой, никто его читать не станет. Рогов со своими модерно-порнографическими фантазиями — просто маньяк: западному человеку все равно не угодишь, а свой, русский читатель ждет от своих писателей мощной духовной правды, а не бездарной клубнички.

— Вы даже сами не знаете, как вы правы! — поддержала Вадима Ксения. — Вы должны поехать к Александру Исаичу, он один все это понимает. Расходы пусть вас не беспокоят, мы вам поможем.

И она взглянула на мужа, мирно дремавшего перед телевизором.

Двадцать лет, прожитые во Франции, сделали из Ксении Князевой настоящую русскую патриотку. Недаром

ведь говорят: любовь крепнет на расстоянии. Не чаявшая, как выбраться из любезного отечества, Ксана, тогда еще девятнадцатилетняя студентка-медичка, опрометью вышла замуж за симпатичного французского врача — специалиста по аритмии сердца, и уехала с ним в Париж. Редкие наезды в Россию через несколько лет прекратились вовсе, зато гостевая комната на втором этаже с начала 70-х годов не пустовала никогда: там, сменяя друг друга, хмуро жили эмигрировавшие из советских пределов диссиденты и писатели. Врач-сердечник смирился с постоянным их пребыванием в его доме, как смиряется муж с хронической болезнью жены, как он сам смирился с неизлечимым бесплодием Ксении: что ж тут поделаешь, что изменишь! Его долготерпение будет вознаграждено: на двадцать пятом году брака Ксения оставит его ради дрессировщика медведей из московского цирка; освободившись, оставленный через полгода женится на своей ассистентке, станет отцом, примкнет к движению "Франция для французов", продвинется на общественном поприще и с чувством выполненного долга легко умрет на семьдесят втором году жизни в собственном бунгало на Багамских островах. Письмо от бывшей жены, полученное за двенадцать лет до его смерти, он не распечатает. Адвокат покойного, разбирая архив своего клиента, без интереса узнает из этого письма о том, что некая Ксана заканчивала свои дни в муниципальной клинике для наркоманов, в Кливленде, штат Огайо, США.

Подходя к дому Ксаны и дожевывая на ходу батон, Вадим Соловьев присматривался и принюхивался к открытым витринам рыбных лавок. Бледные, телесного цвета морские рыбы, крупные круглые раковины, переложенные битым льдом устрицы пахли почему-

то одуряющей свежестью весеннего, еще непросохшего леса. И вся улица, пропитавшаяся за день терпкой теплынью близкой весны, пахла морем, песчаным берегом моря. Заглядывая в витрины, Вадим испытывал голод, все в нем хотело есть, растворять пищу: гудящие от долгой ходьбы ноги, желудок, рот. Вадиму неловко было есть у Ксении, сидеть за обеденным столом с салфеткой на коленях — особенно после того, как позавчера утром она вошла в гостевую комнату в пеньюаре, похожем на боярское платье, и, наклонившись над Вадимовой кроватью, сказала:

— Лежи, лежи, Жак уехал... Ты никогда не задумывался над тем, как определяется возраст женщины?

— Да нет... — промямлил Вадим, стараясь не заглядывать в распахнувшийся вырез на груди пеньюара и все же скашивая туда глаза.

— Женщине столько лет, сколько лет ее любовнику, — сказала Ксения. — Ну подвинься же, наконец!

Подвигаясь и отпахивая одеяло, Вадим не думал ни о Мыше, ни о Ксении. Он думал о тяжелой и, наверно, теплой груди, которую он увидел в вырезе пеньюара.

После этого случая Вадим уходил ни свет, ни заря, а возвращался вечером, когда Жак уже сидел перед телевизором.

Вот и сейчас он, наверняка, уже дома, и неудобно будет как ни в чем не бывало с ним здороваться за руку, а потом опасно болтать с Ксаной, пользуясь тем, что он ничего не понимает. А вдруг — понимает?

Хотелось есть, хотелось, чтоб Жак ничего не понимал, хотелось съехать куда-нибудь от Ксении. Витрина бакалейной лавки сверкала, дверь была открыта, и Вадим вошел, сгребая мелочь в кармане. Стеллажи вдоль стены были сплошь заставлены бутылками, коробками и банками. Все это ничем не пахло — ни

весной, ни морем — и все же Вадим жадно, радостно почувствовал, как каждая клеточка его тела хочет есть, есть... Идя вдоль стеллажа, он отыскал самую дешевую жестяную банку, на ее этикетке были нарисованы голубцы — мясной фарш, завернутый в ярко-зеленые виноградные листья с прожилками. Банка была приятно тяжелая, что-то в ней смачно булькало при встряхивании... Заплатив, Вадим сунул банку в карман куртки и, не слушая, что объясняет ему продавец, вышел на улицу. Вскрыть банку перочинным ножом оказалось непросто — жесть не поддавалась лезвию, зеленоватый сок тек по пальцам. Наконец, отогнув крышку, Вадим с жадностью и азартом заглянул вовнутрь — и увидел аккуратно сложенные в стопочку виноградные листья. Вадим сунул нос в банку, понюхал — пахло травой, уксусом, чем угодно, только не мясом. Поджав губы, Вадим поглядел на красивые голубцы на этикетке, а потом отхлебнул зеленоватого сока из банки и поморщился разочарованно. Собственно, глупо было бы искать в банке с виноградными листьями мясные щи... Макая остатки хлеба в сок, Вадим Соловьев выуживал листья из банки и жевал их как бы обреченно. Ему нравилось жевать эту ботву именно с таким обреченным видом, вызывающим смешливую жалость к самому себе, к своему молодому здоровому голоду и полному нестройству в жизни — иначе он выкинул бы проклятую банку в ближайшую подворотню... Он аккуратно выкинул ее — опустил в мусорную урну рядом с домом Ксении. Теперь можно было и поужинать, и после честно сжеванных листьев сидение за обильным докторским столом не покажется таким уж неловким и беспринципным.

Вадим потянул калитку — легкую, деревянную,



как бы дачную подмосковную калитку — и где-то в доме, то ли в гардеробной комнате, то ли во второй ванной, гулко забрехала собака, запертая там от Вадима, со времени его появления. На собаку весело зашикали, она унялась, и Вадим, переступив порог, увидел в деревянной, во весь фасад дома гостиной пять или шесть человек, из которых один показался ему знакомым, виденным когда-то близко, может быть, за столом, за вином. Этот человек, большеголовый, рыжеватый, с квадратным подбородком и в квадратных очках, за линзами которых водянисто-синие близорукие глаза казались беспомощно расширенными, глядел на Вадима с выжидательной улыбкой: узнает, не узнает. Другие тоже глядели на Вадима с любопытством, с задержанными на лице улыбками, ожидая реакции и, может быть, бурного действия вдруг вошедшего с улицы человека. Задержка затягивалась, лица немели и улыбки становились гримасами — а Вадим все не узнавал; ему было неловко вот так стоять на пороге, под направленными на него со всех сторон взглядами.

— Это же Кира Волох! — не выдержав тишины, воскликнула Ксения, и доктор Жак отвлекся от теле новостей, чтобы взглянуть, что такое тут произошло.

Ну конечно, — узнал Вадим, — это же Кирилл, Кира Волох, мосфильмовский кинорежиссер, он что-то ставил по сценарию Рудика Ованесова, кажется, "Мне бы этот фазтон". Ну и встреча! Он тоже, что ли, откуда уехал?

— Ну и встреча! — сказал Вадим Соловьев. — Ты — тоже?

— Нет-нет! — Кирилл предупредительно отвел ладонью предположение Вадима. — Я в гости приехал, на месяц, по приглашению.

Ну, в гости, так в гости. Вадим все равно был рад, неизвестно отчего — как будто Кирилл Волох приходился ему близким другом, и поступило известие о его трагической и нелепой смерти где-то во льдах Арктики, а теперь вот выяснилось, что все это — ошибка, и кинорежиссер явился живым и здоровым в круг друзей... А они-то и виделись с этим Кириллом раза три-четыре.

— Ну, рассказывай, как ты тут! — с жаром спрашивал Кирилл, и Ксана улыбалась доброй и счастливой улыбкой устроительницы встречи старых друзей. — Что пишешь, что делаешь?

— Да как тебе сказать... — накладывая себе в тарелку ветчину, уклонялся от однозначного ответа Вадим Соловьев. — В двух словах ведь не расскажешь... Ты лучше расскажи, как т а м , как ребята.

— Да там все по-старому, — бодро докладывал Кирилл. — Все живы. Наташка вот Костюкова на съемках разбилась, шофер пьяный был.

— Да что ты говоришь! — сердечно жалел Вадим знакомую ему лишь по имени Наташу Костюкову. — Насмерть?

Выяснилось, что насмерть. Потом с излишним темпераментом поговорили о плохом фильме Тарковского, в котором, впрочем, хорошо снята одна лесная панорама и еще пролет птиц. А потом замолчали, постукивая пальцами по столешнице и глядя в стороны.

— Выпить надо, — предложил Кирилл. — А то тяжело как-то...

После третьей рюмки Кирилл как бы оплавился, перестал искать уши на стенах.

— Везде одно и то же, — сказал Кирилл, аккуратно жуя сыр. — Одно и то же дерьмо. У вас перебарщивают

со свободой, а у нас перебарщивают с несвободой, вот и все. Искусство! У нас тоже его делают: ложка меда в бочке дегтя. И у вас его не больше: в бочке коммерческого дерьма плавает бумажный кораблик настоящего искусства. Только у нас дерьмо держат в тюремной параше, а у вас в фаянсовом ночном горшке с цветочками, на теплом коврикe.

— Но диссиденты! — потерянно возразила Ксения. — У нас их, слава Богу, никто никуда не высыпает, — и она взглянула на Вадима.

— Ну да, — согласился Кирилл. — Я же говорю: у вас свобода, у нас несвобода. И каждый играет своими картами, не соседскими. Я вот вчера по телевизору видел: в Цюрихе шпана целый день громила камнями витрины, машины. Шпана, подростки! Вместо того, чтобы посадить их годика на три, на четыре за хулиганство, их водичкой поливают. Свобода!.. Ну, не хотите сажать, чтоб на нашу несвободу не смахивало — не надо. Тогда сдерите с них их вонючие джинсы и всыпьте им по полсотни плетей на площади перед ратушью! Не можете, дорогие господа: это противоречит свободе — свободе хулиганства... Вы здесь, на Западе, все решили довести до абсолюта: свободу, изобилие, секс-революцию. Все!

— Что ж, — хмуро вступился за Запад Вадим Соловьев, — ты считаешь, что у нас... то есть, у вас... ну, словом, в Советском Союзе — лучше, что ли? Да ты сам подумай!

— Сравнить целое с целым — пустое занятие, — морща лоб, выговорил Кирилл. — Частности надо сопоставлять, частности... Вот, например, у нас подростки камнями витрины магазинов не бьют, и никто в мире не скажет, что это плохо. Это хорошо. А почему не бьют? Может, потому, что витрины эти пустые —

хоть шаром покати. Это — плохо. А у вас витрины дай Бог каждому — и это хорошо.

— Витрины, витрины... — скривился Вадим, с огорчением вспомнив банку с виноградными листьями. — Витрины — это штаны. Или там голубцы... Но существуют ведь в мире, черт побери, духовные ценности! Книги, в конце концов! Несущественно, в каких штанах человек читает хорошую книгу — в шерстяных или бумажных!

— Твой читатель, Вадим, остался в России, — сказал Кирилл то, что Вадим Соловьев и желал от него услышать. — А то, что он сидит там вовсе без штанов и к тому же с пустым брюхом — это, знаешь ли, нехорошо. Плохо это. А я, — Кирилл отхлебнул вина и вкусно причмокнул языком, — зарабатываю в месяц, как десять врачей, хожу в канадской дубленке и езжу во Францию — и это хорошо.

— А то, что Брежнев пишет какую-то муру и его сравнивают чуть ли ни с Достоевским — это тоже хорошо? И гонорары ему платят миллионные — хорошо? — хмуро спросил Вадим.

— Не будем о Брежневе... — досадливо пожал плечами Кирилл. — Все политические лидеры страдают писательской чесоткой. Я думаю, над этим смеются не только у нас в Союзе. — Он бросил в рот несколько соленых орешков и захрустел. — А Париж — это, все-таки, здорово!

Гости, слегка утомленные разговором, задвигались, зашевелились. Им хотелось порасспросить московского режиссера о вещах куда более простых — правда ли, что у Брежнева рак языка и введена ли уже в России карточная система. Эти люди уехали из России давным-давно, но по-прежнему ее любили и не

теряли интереса к ее проблемам. Действительно, болен ли Брежнев раком языка?

— Насчет читателей — это ты правильно сказал... — Вадим Соловьев говорил так, как будто здесь никого не было, и они с Кириллом сидели вдвоем за пивом в летнем павильоне, под грибком, где-нибудь в Сокольниках. — Мой читатель — в России. А здесь все шиворот-навыворот... Ты говоришь — Париж. Ну, Париж! Хороша Маша, да не наша.

Услышав, как Вадим сравнивает Париж с чужой Машей, гости восторженно заулыбались, а Ксения грустно опустила глаза.

— Русский писатель не должен уезжать из России, — процарапав лицо Вадима взглядом, сказал Кирилл. — Ну, у тебя особая статья — тебя выслали. А другие...

— А Бунин? — возразил Вадим.

— Бунин! — оживился Кирилл. — Да Бунин — просто сатир парнокопытный! Теперь таких нет, даже в музее не найдешь... Ты-то вот сможешь здесь писать — без Ванек, без балков сибирских, без пьянки?

— Ты же сам говоришь — везде одно и то же дерьмо, — облокотившись о стол и опустив подбородок в чашку ладони, сказал Вадим.

— Да, говорю, — ухмыльнулся Кирилл. — Но и дерьмо ведь по-разному пахнет. Свое, например, не воняет.

— А почему Бунин-то — парнокопытный сатир? — устало спросил Вадим Соловьев. — Ты его не любишь, что ли?

— Великое русское искусство, — сказал Кирилл Волох, — варится в российском котле. Только там. Кого из этого котла выбросило — тот остывает, гниет... Ты не согласен, что ли?

— Да ладно, — сказал Вадим и махнул рукой. —

Хрен с ним со всем... Ты мне лучше скажи — ты Эйфелеву башню видел?

— Ну конечно! — удивился вопросу Кирилл. — И наверх подымался.

— А я вот — не видел, — сказал Вадим. — Все собираюсь, собираюсь — и никак не соберусь.

С Лионского вокзала Эйфелева башня была не видна. Вадим и не рассчитывал увидеть ее отсюда, с вокзальной площади — он пришел на знакомый вокзал потому, что здесь, в туристском бюро, можно было получить бесплатно маленькую карту города Парижа с нанесенными на нее достопримечательностями. Наверняка были и другие места, поближе к Ксениному дому, где можно было получить точно такую же карту, но Вадим не знал, как туда пройти. Времени у него было много — целый день, и Вадим решил потратить его на поиски и осмотр башни. Он и сам не знал, зачем она так уж ему срочно понадобилась — может, из упрямства; почти два месяца прожил в Париже без этой башни — и ничего от него, как говорится, не отпало, не отвалилось: как был Вадим Соловьев, так и остался. Но в этом было, все же, что-то противоестественное: жить в Париже и ни разу не сходить к Эйфелевой башне.

Сверившись с картой, Вадим определил примерное направление и отправился в путь. Он решил идти пешком: на метро жалко было денег, да и запутано там все очень, неизвестно, куда ехать, и спросить ни у кого толком нельзя. Улицы Вадимова пути сменялись переулками, переулки снова вливались в улицы, а Эйфелева башня все не показывалась. Этим чистым и сладким весенним утром Вадим Соловьев уже помнил о ней только самым краешком памяти — и просто

шел, шагал как бы бесцельно, и ему приятна была незапятнанная еще мазутом утренняя прохлада, двигаясь в которой он утрачивал ощущение времени. И ни при чем здесь была Эйфелева башня, да и город Париж, если вдуматься, был ни при чем.

Его окликнули, и он не испытал ни раздражения, ни радости; ему было все равно, какое-то вялое, тягучее блаженство овладело им... К нему подходил хороший и преуспевающий художник Игорь Жарков, с которым они были знакомы по Москве, и здесь уже успели несколько раз пообщаться у Ксении.

— Ну, как дела? — машинально справился Вадим.

— Ну, как... — задумался на миг Игорь, словно бы вопрос был задан ему всерьез и требовал точного и исчерпывающего ответа. — Порядок, слава Богу. Вчера картинку продал, за сорок тысяч, и сегодня один купец придет.

Ввиду обилия нулей сорок тысяч казались Вадиму величиной совершенно абстрактной, как бы уходящей своими нулями в пространство, и он не стал думать над тем, что можно купить на эти деньги.

— Посидеть бы где-нибудь, — сказал Вадим и оглянулся, ища лавочку. Но не было лавочки.

— Пойдем лучше кофе выпьем, — предложил Игорь, и Вадим пошел за ним.

Из аквариума кафе видна была улица и часть небольшой площади. Они сели у витринного стекла — живые экспонаты, недолгие носители вечности, на которых никто не обращал внимания: неинтересно прохожим глядеть с улицы на посетителя кафе, если у него только один нос, пара глаз да пара ушей. Налей хозяин кафе воды в свое заведение, по самый потолок, и пусти он туда золотых рыбок или даже отвратительных тритонов — вот тогда у высокой витрины нача-

лось бы столпотворение... Но зато как интересно глядеть из кафе наружу, на улицу! И Вадим с Игорем Жарковым глядели с жадным азартом.

По блестящей аспидной брусчатке проехал с треском мотоциклист в синем бархатном пиджаке. У Вадима Соловьева не было ни бархатного пиджака, ни красного мотоцикла, и ему было странно, что человек на неустойчивом двухколесном аппарате едет куда-то в такую рань в нарядном бархатном пиджаке, связанном в мечтательном Вадимовом представлении с бархатными плащами и беретами каких-то королевских придворных, с запахом горящих свечей в зеркальных дворцовых залах.

— Смотри, пиджак-то... — молвил Вадим и толкнул локтем задумавшегося о чем-то Игоря Жаркова.

— Ну да, — Игорь скользнул запоминающими глазами по спине проехавшего. — Театр...

Театр, ну да, театр. Весь этот город — театр, а он, Вадим Соловьев — зритель, получивший по бедности бесплатный билетик на свободное место. От сцены прохладно веет колдовством, актеры действуют в согласии друг с другом и не замечают никакого Вадима Соловьева, как будто его вообще не существует на свете. Вадиму нельзя, никак невозможно войти и вклиниться в актерский круг, занять там свое место, проехаться в бархатном пиджаке на мотоцикле ранним утром. Нет, лучше на лошади, на сытой лошади, по этой вот звонкой брусчатке, а потом по мягкой и душистой земле поля, ехать и ехать, все равно куда, до самой темноты, а потом ночью, по лесу.

Принесли кофе, и Игорь сказал извиняющимся тоном, помешивая ложечкой:

— А я, знаешь, пить бросил... Работать, понимаешь, надо! То есть не то, чтобы совсем бросил — но, когда



работаю, не пью совсем. Даже пиво. А потом запиваю денька на два, не больше.

В Москве Игорь Жарков пил, и крепко. Он всегда был хорошим художником, и пил всерьез.

— А я что-то в последнее время начал, — пожаловался Вадим. — То здесь выпьешь, то там... Тошно потому что, вот и пьешь.

— Дело, понимаешь, вот какое, — продолжал свое Игорь. — Мне уже сорок пять стукнуло, если пить постарому, то к черту сопьешься. Там я пил — ну, это понятно, почему: ну, Евтушенко купит картинку какую-нибудь, ну, иностранца приведут... Кто меня там знал, кто смотрел? А здесь, вон, уже монографию печатают. Хочется работать! И деньги идут, не сглазить...

— Тебе проще, — сказал Вадим, глядя на старушку за окном. — Ты нарисовал, повесил, показал. Тебя все понимают, и ты все понимаешь. А я кому покажу? Что? Русскую рукопись?.. Гляди, какая старуха!

Старуха переходила улицу по направлению к кафе — очень старая старуха, которую хотелось назвать старой дамой. На ее белом обвисшем лице прежде всего бросались в глаза очки — два блестящих овальных стеклышка, почти без оправы, столетней, может, давности. Из-под стеклышек сосредоточенно, но не пристально глядели размыто-голубые глаза, согретые, казалось, лишь наружным теплом, теплом весеннего воздуха. На желто-белой, большой голове старухи прочно сидела ажурная башня шляпы, совершенно черная, опущенная плотной вуалью застарелого вдовства. В одной руке она держала включенный электрический фонарик, другой тянула за цепочку упирающуюся, по-тигриному приседающую на каждом шагу молодую кошку. Вдумчиво переставляя ноги, старуха брела невесть куда со

своей кошкой и фонарем; водители объезжали ее, прохожие безразлично шли мимо.

— Такой чудный мамонт, — подивился Игорь Жарков, — а никто на нее внимания не обращает!

— В том-то же и дело! — горько ухмыльнулся Вадим Соловьев. — Потому что она — своя. А на нас не обращают — потому что мы чужие.

— Ну, почему... — не согласился Игорь. — Я, например...

— Ты — не пример, — перебил Вадим. — Ты от всего мира своими картинками можешь отгородиться и сидеть, ждать. А я? Я — чем?

— Ну да, — сказал Игорь Жарков. — Это ты, конечно, прав. — Он, не мигая, глядел вслед старухе, передвигавшейся по земле с опаской, как по палубе катерка в дурную погоду. — Но вот ты возьми Колю Никитина. Он на своем радио сидит с утра до вечера, пашет и пашет. Он мне сам говорил: "Я три года писать ничего не буду, ни строчки, а только на радио на этом буду пахать — и всем докажу, чего я стою". Ну, а что? Зарплата у него там хорошая, машину купил. А ведь только год, как приехал.

Вадим Соловьев живо представил себе московского прозаика Колю Никитина, пашущего на радио ради какого-то там доказательства неизвестно чего, и ему сделалось горько. Машину купил! Что он, книжки на ней, что ли, будет писать, на этой машине?

— Ну, пойдем, что ли, — сухо сказал Вадим Соловьев и двинул стулом.

Игорь с готовностью сунул руку в карман брюк и вытащил пачку денег, кругло согнутую пополам. Глядя на эту пачку, Вадим без зависти думал о том, что деньги, в сущности — эквивалент таланта. Вот Игорь Жарков — хороший художник, и у него есть

деньги. А Женька Рогов — бездарь, у него денег нет. Бывает, правда, что бездарь в полном порядке, а талантливый человек сухарь грызет, но это уже исключение из правил. Вот если он, Вадим Соловьев, понастоящему хороший писатель — деньги придут и к нему, как естественное дополнение к его таланту. Правда, для этого нужна еще и удача, нужна щепоточка везения. Даже гений-разгений, если он полный неудачник, выглядит в лучшем случае забавным чудачком.

— Ты сейчас куда? — расплатившись, спросил Жарков. — Я в центр, поехали, если хочешь. Такси только поймаем...

— Да нет, — отказался Вадим. — Мне здесь, недалеко...

Ему не хотелось рассказывать Жаркову, что он с самого утра идет к Эйфелевой башне, да он почти уже и забыл о цели своего пешего похода.

Миновав на удивление пустынную для десяти часов утра грязную площадь — лишь толстая розовощекая негритянка игриво прицелилась в него зонтиком из машины, да старик какой-то, разглядывая рекламные плакаты с голыми бабами, проплелся с батоном подмышкой мимо старого кабаре с мельничными крыльями на фасаде — Вадим Соловьев вышел к подъему, к длинной лестнице, уводящей к желто светящемуся храму на вершине холма. Храм не остановил внимания Вадима Соловьева; глядя снизу, он мимоходом подумал о том, что с вершины холма Париж, наверно, выглядит красиво.

Широкие пролеты лестницы чередовались с каменными площадками, и Вадим, поднимаясь не спеша, останавливался на каждой и отдыхал, лениво наблю-

дая за тем, что происходит у него под ногами, в городе, с каждым пролетом становившимся все мельче, все игрушечней.

Вот, — воображал Вадим Соловьев, — город, какой город, игрушка черт знает каких сил. Город как на ладони — на чьей же то, интересно знать, ладони? Ведь он и игрушечный не умещается в кругу горизонта, тоже как бы игрушечного отсюда, сверху. А люди-то, люди-людишки! Если б я писал рассказ, я придумал бы что-нибудь другое — а так, воображая, можно далеко не бегать за сравнениями: человеческий муравейник. И каждый ест, спит, работает, читает книжки. Сколько, интересно, книг в этом городе? Миллиард? А сколько это — миллиард? И ни одной моей, ни одной моей книжки среди этого неба книг. И никому дела нет, что я вот стою здесь — прозаик Вадим Соловьев. Среди миллионов — никого, ни одного человечка. Но ведь это же несправедливо! Я пишу для них, для каждого из них, а им плевать на это, им нет до этого никакого дела. Хоть бы тысяча нашлась, сотня этих маленьких грамотных мурашей, которые сказали бы: да, знаем, читали, это Вадим Соловьев, писатель... Да где ж они, роднейшие, драгоценнейшие? Там, внизу? Это ведь тебе, дружок, не Москва. А в Америке, говорят, уже тысяч сто набралось русских, или сколько там. Русских, евреев — какая разница: главное, чтоб они читали по-русски, думали по-русски. Чтоб можно было к ним прийти и сказать: "Здрасьте! Я вам сейчас покажу новый рассказ"... Париж хороший, замечательный, красивый — но еще немного, и я забуду, как водят перышком по бумаге. Я не могу здесь писать — и точка. И я не понимаю, как здесь пишут местные писатели. Ведь все эти муравьи, черт их дери, читают либо детективы, либо

какие-то нудные математические учебники. Может, действительно, двинуть в Америку? Там, все же, своих побольше. Ксана говорит, что все устроит. Интересно, что бы сказали по этому поводу Захар с Мышей?

Вадим написал им письмо с неделю назад, просил ответить по адресу Ксении. Теперь, заглядывая в почтовый ящик, он с удовольствием и тревогой ощущал, что вот появилась какая-то ниточка, какая-то натянутая серебряная струна, соединяющая его, Вадима Соловьева, с милыми ему людьми, затерявшимися, как и он, в Европе.

Он поднялся, наконец, на холм и с усмешкой превосходства обошел храм, мощные и глухие стены его тела. Ему нечего делать в храме, среди туристов и зевак: он помолился на нижней площадке, глядя на город и думая о себе. Думать и молиться — это одно и то же, потому что мысль, обращенная к себе, может быть ошибкой, но не может быть заведомой ложью. Обманув, украв, предав — нельзя думать о том, что все это другой человек сделал, не ты. А как только открываешь рот и начинаешь говорить слова, начинаешь и лукавить в большей или меньшей степени: не к себе говоришь — к другим, и они, может быть, тебя слушают.

Хором много вещей можно делать, но только не разговаривать с самим собой. А ведь разговор с самим собой — это и есть разговор с Богом... Поэтому мимо говорильни храма Вадим прошел с усмешкой.

Сразу за храмом, за короткой узкой улочкой, открылась Вадиму квадратная маленькая площадь, скорее площадка. Въезд машинам был сюда закрыт; три-четыре сотни людей праздно разгуливали между рядами картин, выставленных на мольбертах. Художники, не обращая внимания на толпящихся, не спеша

мазали кисточками и переговаривались между собой. Картины были разные: плохие и средние. Десятка полтора художников, с рисовальными папками подмышками, сновали в толпе и предлагали желающим изготовить сиюминутный портрет... Вадим Соловьев почувствовал себя в своей тарелке, даже сердце его заходило живей, упруге: нищие, как видно, художники, золотые ребята.

Он поймал глазами портретистку-негрityяночку с большой папкой, в парике из толстых черных веревок. Откуда она, как сюда попала? Вот бы поговорить с ней, посидеть... Девушка, обернувшись на пристальный взгляд, подошла, спросила что-то по-французски, потом по-английски. Вадим развел руками: не понимаю, и денег нет на картинку. Без интереса оглядев Вадима Соловьева, негрityянка скользнула в толпу, навстречу плотной горсточке японцев, появившихся на площади. Веревки ее парика плоской челкой падали на лоб, вздрагивающие черные колбаски на коричневом фоне почему-то волновали Вадима. Он представил себе негрityянку на месте Ксении и улыбнулся невесело.

Из дверей кафе, выходявшего фасадом на площадь, пахло мясом и, может быть, супом, и Вадим постоял тут немного, подышал. Потом, сглатывая слюну, пошел толкаться по полюбившейся ему площади; ему хотелось еще раз поглядеть на негрityяночку. Об Эйфелевой башне теперь и речи не могло быть: не хотелось никуда уходить отсюда, от услужливых, но гордых художников, от старого красноносого пьяницы, лежавшего на тротуаре около кафе и напевавшего что-то дурным голосом. По одну сторону от пьяницы стояла початая бутылка вина, а по другую чисто одетый и совершенно трезвый молодой человек в добролю-

бовских очках. В руках у молодого человека, поглядывавшего на распевающего пьяницу одобрительно, лаково желтела гитара. А пьяница, помахивая в такт своему пению грязной лапой, подмигивал и корчил рожи кучке зевак, глазевших на него со смущенными ухмылками. Было, действительно, что-то постыдное в кривлянии этого старика и в том, как он, широко разевая беззубый рот, пел... Трезвый молодой человек как бы в шутку, как бы нехотя стал подыгрывать старику на гитаре, старик, напротив, с большой охотой запел громче и решительней замахал лапой, и в картуз молодого человека, кстати оказавшийся на тротуаре, донцем книзу, посыпались мелкие монетки. Старик, размахивая пуще прежнего, теперь приглашающе указывал черным растрескавшимся пальцем на картуз.

Позванивая в кармане мелочью, Вадим Соловьев отошел. Он злился на трезвого молодого человека, выставившего на посмешище пьяного старика. Это даже как-то не вязалось и не клеилось: нищие художники, фокусник, грызущий в сторонке битое стекло — и этот чистюля в очках. Если б старик, правда, пел, а не кривлялся — это было бы дело другое: плохой старый певец, и все тут. Но петь, не имея к тому ни малейшей склонности, за деньги — этого Вадим Соловьев не принимал: зарабатывать на издевательстве над искусством нельзя, это грешно и отвратительно. Лучше бы этот очкарик привел на площадь какую-нибудь плешивую макаку, и она бы разевала пасть и махала руками на потеху дуракам. А тут дураки вместо обезьяны лупят глаза на старика, у которого человеческая душа дышит под ребрами. А что они, интересно, читают, дураки? Какие книги им нужны? Сборники дурацких анекдотов? Что-нибудь про футбол? Сначала поглазеют на третьесортных неудачни-

ков-художников, а потом идут слушать рев старика и спорить о том, честно или нечестно фокусник жует битое стекло. И это все. Печально, французы, печально.

Против воли задаваясь вопросом, настоящее ли это стекло у фокусника или липовое, Вадим отмечал с горечью, что число слушателей вокруг старика все увеличивается; японцы щелкали фотоаппаратами и стрекотали кинокамерами. Перейдя площадь, он сел на скамейку и стал глядеть на художников, которых ни старик, ни зеваки не занимали ничуть. Через несколько минут, желчно рассуждая об эрзац-искусстве и его потребителях, он забыл о старике.

Французы, эти потомки королевских мушкетеров и гвардейцев кардинала, раздражали его. Вот они упиваются грошовыми картинками, вот они слушают омерзительное кваканье старого пьяного жулика. Где же их хваленый вкус, где их благородство! Что здесь осталось от Франции великолепного Дюма, кроме самого Парижа? Париж населяют эти простофили, не отличающие крашеной жести от золота, по Москве бродят стаями какие-то серые мрачные хулиганы. Вена сыра и противна, как сырое яйцо. О Риме лучше и не вспоминать... Что случилось с миром? Где настоящие художники? Где рассказчики историй у костра? Чистый детский голос настоящего искусства не слышен за звериным ревом этого проклятого века.

Закрывать глаза, вообразить эту старинную площадь, полную другими людьми: обходительными усачами в плащах, при шпагах, и гризетками, или как их там называли, этих симпатичных белолшвеек. Весна, едва оперившиеся зеленью дерева неухоженного сквера, прохладное в фаянсовой синеве неба солнце, которое



так и хочется назвать — солнышко, и сама эта площадь, похожая на внутренний дворик хлебосольного старого дома — вот это и есть настоящий Париж, придуманный раз и навсегда в детстве, с зачитанной толстой книжкой в руках... Вадим Соловьев тихонько приоткрыл глаза и прицельно поглядел поверх голов на зеленоватые деревья, и на прохладное солнце, и на устье площади, открывающееся в голубой провал неба. Это был настоящий Париж, и Вадим вдруг почувствовал, как когда-то в детстве, легкую тяжесть счастья в горле и сладкую влагу подступающих слез. Теперь должна была прийти музыка, звуки музыки, простенькой, как ситчик, и незаметной, как дыхание. Вадим прислушался с улыбкой, представив себе эту текущую в легком воздухе грустно-веселую мелодию — и даже досадливо поморщился, когда услышал ее вживе. Он огляделся и увидел, что прислушивается не он один, что люди отекают от пьяного старика и от жующего фокусника и устремляются к устью площади, к проходу между двумя желтыми домами, между которыми — небо навьлет. Музыка доносилась оттуда, и Вадим Соловьев пошел туда, вместе со всеми. Люди слушали, подходя и не видя еще источника музыки, лица людей, блудливо только что улыбавшиеся старику и его ужимкам, выражали теперь радостное внимание. Грустно-веселая мелодия шла как бы от неба, от поля. Люди подходили и слушали молча, и никто не решался сказать что-нибудь, неважно что.

В голубой тени стены шарманщик вращал ручку своего ящика.

Слушали люди, как слушают в концертном зале великого артиста, на выступление которого не просто достать билетик и накладно.

Шарманщик был лет тридцати пяти, с простым

светлым лицом; с его плеч свешивалась синяя накидка мягкой толстой ткани.

Вот они, его слушатели: зеваки, нищие художники, город Париж.

У Вадима нет никого: его москвичи остались в Москве, его русские — в России. В России и в Америке.

Нельзя в Россию, значит, надо в Америку, к ним. Ксения все устроит.

Уходя, Вадим переписал для памяти название площади с дощечки в свою записную книжку: "площадь Тертр".

Когда все уже было устроено, перед отъездом, Вадим Соловьев получил письмо из Вены. Захар с Мышей писали, что у них все, совершенно все в порядке, что в Вене весна и что они скучают по Вадиму, как по дорогому человеку. Много теплых слов, столь приятных перед дальней дорогой с необозначенным концом.



## 6. В ЗЕРКАЛЕ ВО ВСЮ СТЕНУ. НЬЮ-ЙОРК

Новая страна открывается нынче для путешественника не с тихих окраин, как то должно было бы естественно произойти, а, по большей части, из самого центра, из самого сердца — из столицы: с аэропорта или с железнодорожного вокзала. Ушли-уехали те времена, когда оглядчивый путник трусил себе на лошадке через границу, удивляясь тому, как незаметно один народ переходит в другой, а запредельный пейзаж и вовсе ничем не отличается от того, что радовал или раздражал глаз часом или днем раньше, в стране с другим хозяином и под другим названием. Выходя из своего дома и отправляясь в путь, человек отрешался от всех житейских забот, целиком погружаясь в иные — путевые... Теперь и славное слово это — путник — вышло из моды и встречается разве что в литературе, тяготеющей к классической традиции. На смену мечтательным путникам пришли деловитые туристы. Очутившись в каком-нибудь Бангкоке или пропахшем перцем Занзибаре, они не хлопают по-простецки глазами: это ведь так обычно и просто — облететь мир на самолете, мало уже чем отличающем-

ся от парохода, — разве что вместо трубы у него хвост и крылья. Они организованно становятся в очередь и, постояв минут пять, протягивают книжечку паспорта услужливому чиновнику. И штамп, как ключ, открывает перед ними ворота города и страны.

Рассуждая о некоем загадочном царстве-государстве, что лежит за лесами, за морями, за высокими горами, за тридевять, одним словом, земель, мы думаем, дамы и господа, о неизбежной скуке трех-, ну пятичасового перелета, о забавном небесном обеде да о сигаретах и водке, приобретаемых со скидкой во время путешествия. Помилуйте, да путешествие ли это? А что же тогда кровавые труды Колумба, Марко Поло и Давида Ливингстона? Путешествия превратились из страсти — в хобби, из работы — в праздность. О, добрый конь, друг путника! ”Капитан Том Джонсон приветствует вас на борту своего Джамбо. Не забудьте пристегнуть привязные ремни. Спасибо за внимание, дорогие дамы и господа!”

Вадим Соловьев, миновав Атлантический океан, свалился с неба в город Нью-Йорк, что в Новом Свете, и аэропорт имени Кеннеди не произвел на него впечатления. Стоя в длиннейшей очереди, ведущей в таможню, с почти пустой сумкой в одной руке и пишущей машинкой в другой, он представлял себе: как было бы замечательно, если бы он прилетел сюда прямо из Москвы, в гости. Воображенная радостная картина была, однако, омрачена вот чем: паспортный контролер, разглядывая Вадимовы бумаги, строго на него глядел и спрашивал о чем-то, чего Вадим совершенно не понял. Сердитые взгляды официального человека оставили горький осадок и заставили думать о неизбежных грядущих неприятностях. Неприятности могли начаться прямо с порога — если Володя

Бромберг, которому Ксения звонила из Парижа, не приехал почему-либо на аэродром. Куда тогда пойдет Вадим Соловьев? Куда поедет? К кому? К Володе Бромбергу, которого Вадим не знал и не видел никогда в жизни, тоже не особенно хотелось ехать, но Ксения сказала, что он — свой парень и хорошо акклиматизировался в Нью-Йорке. Свой или не свой — но, хотя бы, бывший москвич и журналист. Через него можно будет связаться с Костей Семашко, и с Левкой Дупелем, и Витька Альтшуллер тоже, кажется, здесь, и работает, кажется, на "Голосе Америки". По другим, правда, сведениям Левка Альтшуллер снял двухсерийную комедию в Рио-де-Жанейро, а по третьим — открыл в Австралии заправочную бензоколонку. Есть еще Нема Золотарь, у него свой русский театр на Бродвее, это известно точно. Ну и, конечно, Солик Либов, он купил ресторан где-то в центре, но к нему лучше ходить обедать: это все-таки противно, когда поэт, бывший смог\*, переквалифицируется в рестораторы. Пообедать — да, но говорить с ним всерьез о литературе, все же, как-то неловко... Да, что ни говорить, а в Нью-Йорке этом своих людей хватает, всех сразу и не вспомнишь. Действительно, вторая Москва этот Нью-Йорк. А что пограничник такой сердитый — так у него, может, глисты. Самое главное, чтоб этот Володя Бромберг приехал, не обманул.

Володя приехал. Он стоял с озабоченным видом у выхода из таможни, выглядывая в толпе Вадима Соловьева. Заметив высокого молодого человека с пишущей машинкой, он энергично помахал ему рукою над головой, приветствуя, но как бы одновременно

\* Смоги (Самое Молодое Общество Гениев) — нелегальное литературное течение в Москве, в начале 60-х годов.

и морально поддерживая: ты, мол, Вадим, не падай духом, у нас в Америке все будет о'кей.

После взаимных приветствий, довольно сердечных для первой минуты знакомства, Володя взял пишущую машинку и быстро, то и дело поглядывая на часы, зашагал перед Вадимом на стоянку.

— Хорошая тачка, — определил Володя, отпирая дверцу своей машины. — Но — не новая.

Шевролет, действительно, был очень старый и очень большой. Вадим зашвырнул свой баул назад, а сам уселся рядом с Володей.

— Лайсенс есть? — справился Володя, выезжая со стоянки. — Права?

— А, права! — не сразу сообразил Вадим. — Нету. У меня машины ведь не было.

— Шит\*, — лаконично оценил положение Володя. — Это — надо. — Он смачно шлепнул ладонью по перламутровой баранке руля. — Для бизнеса.

Вадим хотел было сказать Володе, что не собирается заниматься в Америке никаким бизнесом, но потом раздумал. Чтобы не затягивать неловкое молчание, да и из любопытства тоже, он решил поискать общих знакомых.

— Ты Дупеля знаешь, писателя? — спросил Вадим. — Его в Москве звали Эмиль Сергеев. Ну, как он?

— Сидит на велфере, — буднично осведомил Володя.

Таким известием Вадим Соловьев был неприятно покороблен. Из разговоров с Роговым и Рубинчиком он знал, что, хотя деньги и не пахнут, сидение на велфере означает крайнюю степень падения и нищеты.

\* (англ.) дерьмо.

— Но он же профессионал, — потерянно молвил Вадим. — Он же был членом Союза писателей...

Володя легко пожал плечами, показывая тем, что биография Дупеля-Сергеева его не занимает ничуть.

— А Костя Семашко? — разведал Вадим.

— На велфере, — отрезал Володя. — Гонит самогон.

Представив себе, как Костя Семашко, знаменитый переводчик грузинских стихов, гонит самогон в Нью-Йорке, Вадим Соловьев усмехнулся. Костя Семашко, крупный холеный мужчина сорока лет, сердцеед и гурман в квадратных роговых очках, был известен в Москве не только своими переводами с грузинского, но и отличными американскими костюмами, кожаными пиджаками и какой-то особенной канадской дубленкой, перекупленной за большие деньги у брежневского референта.

— Он, что, запил? — кося глазом на невозмутимого Володю, спросил Вадим.

— Пьет, — обронил Володя. — И на продажу.

— А Золотарь Нема? — уже с тревогой спросил Вадим. — У него русский театр на Бродвее...

Ему так хотелось услышать, что дела Немы Золотаря замечательны, что у касс театра каждый вечер выстраивается очередь и что спектакли идут при переполненном зале.

— Шьет варезки, — сказал Володя. — Из цигейки. Жена продает.

— Какие варезки? — готовый засмеяться этому очередному сообщению Володи, как шутке, переспросил Вадим Соловьев. — А театр? Нет его, что ли?

— Нет, — сказал Володя Бромберг и добавил философски: — Жизнь — театр. И заодно цирк.

Немало общих знакомых сыскалось у Володи Бромберга и Вадима Соловьева.

— А я вот знал еще такого Солика Либова, — сказал Вадим. — Он в Москве стихи писал, а здесь, говорят, открыл ресторан.

— Пирожковую, — поморщился преувеличению Володя. — Прогорел. Уехал в Новую Зеландию.

Значит, Солик Либов, смог, уехал в Новую Зеландию. Это звучало озадачивающе. Что, собственно говоря, смогу Либову делать в Новой Зеландии?

— А кто из наших ребят... — Вадим замялся на миг, — устроился?

— Сенька Глозман, — не помедлил с ответом Володя. — Сапожная мастерская. Польских Витька — пекарня. Мы попозже к нему подскочим, посидим. Только вот на маркет\* заедем, у меня там бизнес. Тебе тоже интересно будет.

Отвернувшись к окну, Вадим Соловьев беззвучно смеялся. Нельзя сказать, что смеялся он по причине внезапно слетевшей на него веселости; посещение рынка, на котором у бывшего журналиста Володи Бромберга был бизнес, не сулило Вадиму радости. То был колкий нервический смех, возникающий неизвестно с какой стати, не управляемый ни разумом, ни силой воли. После такого смеха наступает апатия и полная бесчувственность — хоть на куски режь без наркоза.

— Витька на прошлой неделе пекарню купил, — проинформировал Володя, и в голосе его звучала гордость за Витю Польских. — Семьдесят пять кусков. Пятнадцать — чистыми, остальные в банке взял. Под восемь процентов.

\* (англ.) рынок.



— Так он ведь, кажется, на телевидении работал, — сдерживая булькающий в горле смех, удивился Вадим. — Редактором.

— Ну и что ж? — несколько надменно спросил Володя Бромберг. — Все работали... Он раньше Пищевой кончал. Я сам диплом видел. Здесь кто чего в Москве делал — это никого не колышет. Но если ты хочешь книжками кормиться — кормись на здоровье. Это твое дело.

— Ну, это понятно, — согласился Вадим. — Но вот ты сколько уже в Нью-Йорке? Два года? Ты здесь работал как журналист, печатался?

Сообщение о рыночном бизнесе заставило его задуматься над достоверностью Ксениной информации.

— Нет, — сказал Володя с прохладцей. — Я бы хотел стать американским журналистом. Но это невозможно. Значит, я стану просто американцем: доллары, дом, новый бьюик.

— У тебя есть дом? — спросил Вадим.

— Нет еще, — сказал Володя. — Но — будет. Если б я писал статейки в русскую газету — не было бы никогда. — Он свернул с центральной дороги и ехал по каким-то заасфальтированным пустырям. — Вот один гений сделал миллион на этом асфальте. Это — ипподром, бега. Здесь — паркинги, на десятки тысяч машин. Так вот, он за копейки купил право использовать эти паркинги как хочет в те дни, когда нет бегов. И он устроил здесь маркет. Место — пятнадцать грюнов\*. Въезд — три грюна. А он ездит себе на электрокаре, собирает бабки. Он — гений. Эйнштейн, но в своем роде.

\* Грюн (русс. арг.) — доллар.

На ипподромном базаре, на котором у Володи оказалось место, закрепленное долгосрочным контрактом, толпились тысячи людей. Здесь продавалось и покупалось все — от рыболовных крючков до кнопочных телефонных аппаратов, от французского сыра до гигантских паралоновых шляп неизвестного назначения. Володя Бромберг, не желавший по каким-то соображениям использовать сегодня свое торговое место, без хлопот уступил его за двадцать пять долларов долговязой тетке с пикапом, доверху нагруженным столиками из фальшивого итальянского мрамора, на резных ножках. Потом, в английском гомоне, Вадим Соловьев услышал звуки родной речи: Володя обсуждал торговые дела с продавцом собачьих цепей.

— наших русских тут человек пятнадцать наберется, — дал справку Володя Бромберг, переходя от цепного торговца к продавцу восточных сладостей из Тбилиси. — Все довольны. Чистый барыш — сорок пятьдесят грюнов. И, заметь, весь товар на двадцать пять процентов дешевле, чем в магазине. Настоящий американец за таким товаром в другой штат поедет. Ты меня понял?

Вадим покивал головой в знак того, что ему все ясно насчет американского национального характера.

Уже на выезде с базара Володя показал Вадиму гения, в своем роде похожего на Эйнштейна. Маленький старый еврей в летном комбинезоне, с головой, покрытой белым шелковым пушком и с усталыми, грустными глазами мыслителя ехал, действительно, на открытой электротележке.

— Если б он тут на кадиллаке ездил — знаешь, сколько газolina бы сжег? — спросил Володя и, не дождав-шись ответа, закончил свою мысль: — На электрокаре

куда дешевле. Он на нем как на троне сидит, ему сверху все видно. Весь маркет.

— Он сам, что ли, деньги собирает? — искренне полюбопытствовал Вадим Соловьев. — Ведь у него, ты говоришь, миллион есть...

— Не сам! — махнул рукой Володя. — Люди его собирают, вон там, в вагончике. А он только проверяет. У него глаз — орлиный.

Орел-мыслитель, — подумал Вадим Соловьев. — Грустный старый орелик со вставной челюстью и с миллионом долларов в наколенном кармане летного комбинезона. На эти деньги можно издать, может, тыщу хороших книг. Перед сном орелик пьет боржом с молоком и читает в уборной биржевую газету.

— Это — Америка! — голосом суровым и сочным сказал Володя, когда они выехали с рынка.

Вадим Соловьев не стал спрашивать, что он имел в виду: весь рынок в целом, или конкретно гениального орелика на экономичной электротележке, или того человека, что торговал гигантскими паралоновыми шляпами неизвестного назначения. С первого шага Америка не завоевала сердце Вадима Соловьева. Но, быть может, он, направляемый хорошо акклиматизировавшимся Володей Бромбергом, просто шагнул не в ту сторону.

Среди гостей Вити Польских, пекаря, Вадим Соловьев узнал, с радостью для себя, косматого неулыбчивого старика в вислом пиджаке, с сигаретой в одной руке и с противоастматическим рожком в другой.

Но вначале еще немного о Ксении — хотя бы для того, чтобы упомянуть ее имя, прежде чем оно исчезнет, оставив след неясный и недолгий. Это по ее прось-

бе деловой Володя Бромберг приехал на своем шевролете встречать Вадима на аэродром, а Витя Польских, бывший телередактор, преуспевший в пекарском деле, устроил прием в его честь. Это в ответ на ее просьбу один из коллег врача-сердечника передаст Вадиму конверт с двумя стодолларовыми бумажками, а средних лет вдова рентгенотехника даст ему приют в своем доме и накормит его сначала ужином, а потом завтраком. Три трудных, остроугольных американских месяца пройдут для Вадима Соловьева под знаком Ксении — а он об этом никогда не узнает: маленькие житейские поблажки он будет воспринимать как подарки судьбы, а не как продолжающуюся заботу своей недолгой парижской знакомой, такой взбалмошной и взмутненной. Впрочем, не он один из проехавших в Америку через Париж, через гостевую спальню Ксениинога дома, порадуетса настойчивой благосклонности судьбы... Вот и все о Ксении Князевой.

Неопрятный старик, несомненно, тоже был обрадован встречей с Вадимом Соловьевым. Малого роста — Вадиму по подбородок — он обнимал его, стучал по его спине маленькими мягкими кулачками, прожег ему рубашку огоньком своей сигареты, хрипел и задыхался. Потом они отошли в угол и сели на диван, весьма довольные друг другом, и старик еще долго пыхтел и кашлял, нажимая на грушу своего противоастматического устройства. Старика звали Александр Карлович Лир, когда-то о нем писали в московских газетах как о восходящей звезде русской прозы, но потом он вдруг перестал писать, и запил, и сел, а, выйдя, взялся вести при каком-то заштатном рабочем клубе литературный кружок. В этот клуб молодые начинающие гении ездили, не ленясь, через всю Моск-

ву — послушать, что "дядя Саша", как они называли Лира, рассказывает про Достоевского, Платонова и Джойса и почитать свое. Полтора года назад, вторично овдовев, Лир попросил разрешение на эмиграцию и получил его беспрепятственно. Часть его учеников провожала его, другая часть ждала в Америке.

— Везде одно и то же дерьмо, если по крупному счету, — отдышавшись, сказал Лир, и Вадим улыбнулся, вспомнив режиссера Кирилла Волоха. — Но когда встречаешь товарища, дерьмо вдруг перестает смердеть.

Лир вот уже год сидел на велфере, и это обстоятельство его ничуть не смущало. Другое его смущало.

— Ты в "Мощах" писал об абсолютной свободе духа, — обняв Вадима за плечи, сказал Лир, и Вадим испытал блаженство: говорили о его прозе. — Это твое беспокойство, твоя тема... Так вот, человек на необитаемом острове абсолютно свободен, но ему недостает людей для сравнения своей абсолютной свободы с их свободой относительной. Своего "я" ему в этой ситуации совершенно недостаточно. Ведь и счастье свободы, понимаешь ли, познается в сравнении. А в несвободе тоже есть свое счастье, и нельзя назвать его маленьким, потому что счастье не поддается измерению. Одинаковая свобода для всех бесцветна и пресна, а одинаковая несвобода — горька и семицветна... Мы на необитаемом острове, Вадим, и мы одинаково свободны.

Вадим Соловьев не возражал Лиру, хотя и не был с ним согласен всецело; но ему было приятно слушать старика. Кроме того, "горькая и семицветная несвобода" — это Вадиму понравилось.

— Да здравствуют булочки, мой мальчик! — прохрипел тем временем Лир на ухо Вадиму Соловьеву. —

Хлебопечение — одно из древнейших ремесел, куда более древнее, во всяком случае, чем телередактура. Наш хозяин — ты помнишь его по литкружку? — вернулся, таким образом, к истокам. Можно быть уверенным, что бублики он печет не хуже, чем рассказы. Доказательством тому — стол. Ты видишь, ножки прогнулись. А сколько очень хорошей водки!

Стол был роскошен. Взглянув мельком, Вадим засек на белой крахмальной скатерти рубиновую икру, ростбиф цвета кошачьего языка и янтарного рыбца, какой давно уже не снился и секретарю ростовского обкома партии.

— Вкусно, — сказал Вадим. — Если вы помните, дядя Саша, мне все равно, что есть.

— Мне тоже, — сказал Лир. — Я никогда не был гурманом. Но я почти всегда был пьяницей. Давай-ка выпьем!

Он поднялся и пошел к столу, и другие гости, словно бы дождавшись команды, тоже потянулись к угощению.

— Садитесь, ребята, где кому светит, — пригласил Витя Польских. — Ну, поддадим! Вы на меня не смотрите, что я такой вареный — с пяти утра на ногах. Садись, Вадим, вот в кресло. Дяде Саше — право первой ночи. Он свое получил, а теперь мы с тобой поговорим. Смирновочку пьешь? Бери калач, бери что хочешь.

За столом впритык друг к другу разместилось человек десять. Почти всех Вадим Соловьев знал в лицо, видел когда-либо — он только не мог припомнить, при каких обстоятельствах: скорей всего за столом, вот так же. Бывшие литкружковцы дяди Саши Лира были здесь тоже: Лева Дупель, Сеня Глозман. Костя Семашко должен был прийти попозже, его решили не ждать.

— Накладывайте сами! — поощрял к действию Витя Польских. — Наливайте!

— Ты только погляди на него! — Лир потянулся большой кудлатой головой к уху Вадима. — Вот что значит вовремя переболеть литературной ветрянкой. Ведь без таких энтузиастов мир бы оскудел, и мы вместе с миром. Отличный парень, между прочим, Витя Польских.

— Он, видно, устает здорово, — предположил Вадим. — И там, наверно, жарко, где он печет.

— Жарко, жарко, — подтвердил Лир. — Я там у него не был, как ты догадываешься... Там жарко, а здесь тепло и светло. Здесь он любит угощать своих собратьев по перышку, и я могу понять эту его приятную слабость. Я поступал бы точно также, если бы умел печь булки или тачать сапоги, как Сеня Глозман. Витя и Сеня не дадут нам пропасть: булками и башмаками мы обеспечены до самой смерти. Голодный и босой писатель — это нехарактерно для Соединенных Штатов.

— А в Париже все наоборот, — сказал Вадим Соловьев. — Женьку Рогова помните? Он лучше собственную жену съест, а в парикмахерскую не пойдет работать. А он ведь парикмахер... Я бы тоже не пошел, — подумав, подвел итог Вадим.

— Жаль, что я не парикмахер, — сказал Лир, наливая водку в фужер. — И не цирковой силач. В глазах общественного мнения я — бездельник и пьяница. Вместо того, чтобы чистить тарелки в баре или служить сиделкой, я пишу слова, которые никто не читает... Ну, давай выпьем за Вадима Соловьева!

— Но здесь же десятки тысяч русских! — Вадим растерянно оглядел сидящих за столом. — Они, что — не читают?

— Это другие русские, — с улыбкой глядя в фу-

жер, сказал Лир. — Это не русские евреи — это американские русские... Ну, вперед!

К тому времени, когда пришел Костя Семашко в кожаном пиджаке, привезенном из Москвы, Вадим Соловьев узнал об Америке многое: как сесть на велфер, как бесплатно получить в синагоге подушку и зимнее пальто. Лир пригласил его к себе жить. Володя Бромберг подарил ему карманные электронные счеты, без которых, по словам Володи, ни один настоящий американец не выходит на улицу. Витя Польских тоже сделал ему подарок: большой металлический магендавид на цепочке. К концу третьей бутылки Вадим Соловьев выслушал минимум по разу от каждого из присутствующих, что Америка — великая и могучая страна, лучше которой нет на целом свете. Это Вадиму Соловьеву рекомендовалось присутствующими принять к сведению и запомнить, что бы с ним в дальнейшем ни случилось и как бы ни сложилась его новая жизнь. Тот, — вытекало из их слов, — кто этого не усвоит с первого же шага, никогда не избавится от чувства собственной неполноценности и окажется в конечном итоге в страшном проигрыше. Так утверждал самогонщик на велфере Костя Семашко, и Польских с Глозманом с ним соглашались. То же твердил, как ежедневную молитву, и Володя Бромберг. По красному с синим лицу Лира можно было догадаться, что и он считает Америку страной более необыкновенной, чем все прочие страны.

— Я хочу заработать здесь свой миллион, — сказал Витя Польских, торжественно и упрямо моргая глазами. — А потом уехать жить в Израиль. Сидеть там на берегу моря и, может, немного писать. Я прямо из Вены туда бы уехал, но жена была против. Вы же знаете мою жену. — Он погладил жену по круглой



спине. — Но теперь я ей благодарен, потому что точно знаю, чего хочу: миллион и уехать в Израиль.

— А я хочу на остров Борнео, — сказал Лир, покачивая водку в фужере. — Нет-нет, я не шучу: я действительно хочу туда поехать. Больше я ничего не хочу, это все.

— Каждому свое... — изрек Костя Семашко. — Я не хочу в Израиль, и на Борнео тоже не хочу. Я хочу открыть туристское бюро. Если я не брошу самогонный бизнес, я через год умру от цирроза печени.

Не предвидят люди свой конец, гадают-гадают, так хотят догадаться — и ошибаются. Костя Семашко покается, получит работу в нью-йоркской газете "Голос Родины", вернется в Советский Союз и умрет на пятьдесят третьем году жизни, подавившись куском шашлыка в московском ресторане Союза писателей. В некрологе, опубликованном "Литературной газетой", он будет назван выдающимся мастером поэтического перевода с грузинского языка на русский. О его эмигрантском прошлом там не будет сказано ни слова.

— Ну, ладно, начистоту — так начистоту, — сказал Володя Бромберг и улыбнулся. Он улыбнулся впервые за сегодняшний день, и Вадим прислушался заинтересованно. — У хозяина нашего маркета есть дочка. Очки, большой зад. Так вот, я хочу на ней жениться. Больше всего на свете я хочу жениться на этой дочке. Я видел ее всего три раза, но я люблю ее папу. Он великий человек.

Сообщение о планах Володи Бромберга было встречено сочувственными улыбками. Водка развязала языки, распустила мысли. Настроение у всех было чуть-чуть мечтательное.

— Мечты, мечты! — продекламировал, как со сцены, Лева Дупель. — Жизнь — это полное собрание трагедий,

и вот пример одной из них: сокол так любит суслика, а суслик совсем не любит сокола... Я вам, ребята, так скажу: мне бы получить на год бесплатные талоны на завтрак, обед и ужин в каком-нибудь китайском кабаке. Ты меня послушай, Вадим — я рассуждаю как настоящий американец и реалист.

Гости оборотились к Вадиму, желая послушать, что тревожит его душу в первый день приезда в Америку.

— А я мечтаю вот о чем, — покусывая губы, сказал Вадим Соловьев: — Сесть на лошадь и ехать, все равно куда. Ехать, и все. А потом, когда деньги все кончатся до копейки, съесть лошадь.

Представив себе Вадима Соловьева, пожирающего лошадь, гости потрясенно молчали.

— А в этом что-то есть, — сказал, наконец, Лева Дупель. — Ей-Богу, в этом есть нечто... Ехать-ехать, а потом срубить верную лошадь. Ты умеешь на лошади?

— Нет, — сказал Вадим. — Не умею.

Лир придвинулся к нему, прохрипел:

— Вадим, возьми меня с собой. Я поеду на осле. Вот увидишь, мы доберемся до Борнео.

После Вадима никому уже не хотелось рассказывать о своих мечтах на будущее. Вернулись к водке, к рыбцу. Жуя, застольщики как бы невзначай, но пристально поглядывали на Вадима Соловьева: нет, с такими мыслями в башке он никогда не станет настоящим американцем. Ему бы ехать в другую сторону на своей лошади, не в Америку.

Только один Лир, казалось, не был ничем озабочен. Подливая и подкладывая Вадиму, он словно бы прислушивался к тому, как за стеной хрумкает овсом лошадь и постукивает копытцами осел.

Вещи не мешали Лиру жить: когда их становилось слишком много, часть из них — ту, которая поближе к выходу — Лир просто выволакивал на улицу и оставлял у подъезда, на обочине тротуара. Так он выволок пружинное кресло-кровать, ореховый столик для телевизора, напольную вешалку на пять рожков и бронзовый стояк с хрустальными висюльками, неизвестного назначения. Их место вскоре заняла белая садовая качалка с подушками, четырехэтажный ящик для обуви и бильярдный стол без шаров и без киев. Отодрав один борт, Вадим Соловьев разложил и расставил на зеленом, со следами мела сукне пишущую машинку, бумагу, копирку, ручку и карандаш, ластик и большую эмалированную кружку для чая. Лир, покопавшись в кухонном шкафу, набитом разномастной посудой, предложил было ему роскошный фарфоровый сосуд на четырех золоченых львиных лапах и с изображением чайного клиппера на боку, но Вадим решительно отказался: простая эмалированная кружка напоминала ему его московскую Конуру с ее убогим родным бытом.

Друзья, знакомые и знакомые знакомых, заглядывая к Лиру с бутылкой или просто посидеть, рассматривали вещи, делавшие комнату в точности похожей на мебельный склад, со знанием дела, с интересом отмечая появление новых и исчезновение старых предметов. Многие из этих людей и притаскивали сюда с добрым сердцем столы, шкафы и лежаки, вынесенные прежними владельцами за ненадобностью на тротуар. "Вот, очень еще приличный комод", — объясняли они Лиру, втаскивая рухлядь в дверь. Больше они никак не могли порадовать Лира и проявить к нему свою заботу; а сам Лир ничего к себе не тащил и не нес. Даримое он принимал с благодарностью и с добрым словом, одна-

ко же и доброте бывает предел: когда вслед за мебелью последовали ношенные, но вполне еще приличные костюмы, пальто и башмаки, он увязал одежду в тюки и выкинул в помойку. Мебель ему не мешала, а одежда мешала. Лишняя пара штанов немедля переводила его, как ему казалось, в разряд собственников, а само это понятие — "собственник" — существовало для него только с отрицательным знаком. Он считал, что, раз человеку даны две ноги, ему ни к чему четыре штанины. Жизнь же в складе, по которому и передвигаться надлежало с опаской, чтоб не набить себе синяков и ссадин, вполне его устраивала; эта жизнь была достаточно удалена от его представлений о мещанском уюте.

Вадим Соловьев писал и пил чай, сидя за бильярдным столом, и помогал Лиру двигать вещи, перемещая наиболее обременительные из них поближе к выходу. По утрам никто не мешал хозяину и гостю, и Вадим читал Лиру куски прозы, написанные накануне. Лир сопел, сипел, фукал противоастматическим приспособлением и делал замечания, которые Вадим слушал вполуха. Новую вещь — рассказ страниц на пятнадцать — Вадим намеревался закончить к концу недели, дать ему вылежаться два-три дня и прочитать его на литературном вечере, в книжном магазине на Брайтон-бич. Этот вечер устроил ему Витя Польских, воспользовавшись своими деловыми связями: хозяин русского книжного магазина оказался связан какими-то таинственными торговыми нитями с Витей Польских, хотя, на первый взгляд, ничего общего между калачами и книжками не было и быть не могло. Видя недоумение Вадима, Витя долго и обстоятельно объяснял ему систему распространения и сбыта товаров на Западе, но Вадим только досадливо тряс ногой, а услы-

шав, как бывший телередактор обзывает книгу "товаром", и вовсе отвернулся.

— Ну, ладно, ты все равно в этом ничего не поймешь, — сказал тогда Витя Польских и пожал плечами. — А евреи, между прочим, вот что говорят по этому поводу: "Нет книги без хлеба, нет хлеба без книги".

Так или иначе, но вечер должен был состояться, и Вадим Соловьев готовился к нему как к собственному дню рождения. Сидя за бильярдным столом на строгом пианинном табурете, он с волнением и радостью представлял, как будет читать, как потом будет отвечать на вопросы собравшихся на его вечер и как, может быть, потом, когда все уже закончится, к нему подойдет представитель издательства "Плот" и предложит напечатать у них книгу.

Гулянья по Нью-Йорку не увлекали Вадима Соловьева: Нью-Йорк не Париж, здесь все одинаково, как деревья в лесу. Тот лишь факт, что дом насчитывает сто десять этажей, а не сто или девяносто девять, не оказывал на Вадима никакого действия: ну, сто десять, так сто десять — все равно сосчитать невозможно. Кроме того, происшествие в Итальянском квартале напугало его и насторожило.

Произошло это вскоре после вечеринки у Вити Польских. Володя Бромберг заехал за Вадимом к Лиру, сказал:

— Тут внизу ребята. Поехали поглядим витрины, а потом выпьем капучино в Итальянском квартале.

Лир от витрин и кофе отказался категорически, а Вадим поехал: даже как-то неловко не смотреть в Нью-Йорке витрины. Где ж их еще смотреть, как не в Нью-Йорке? Это ведь как бы часть местной жизни, раз ребята ни с того, ни с сего едут смотреть витрины.

Ребята оказались с женами и детишками, на трех машинах. Выгрузившись где-то в центре Манхеттена, долго бродили вдоль витрин и фотографировались на их фоне, на память. Вадим фотографироваться не хотел, в витрины глядел с холодной ненавистью — то ли к бесчисленным товарам, то ли к самому себе: зачем поехал, почему не остался сидеть с Лиром, за бильярдным столом... Детишки, как угорелые, бегали по тротуару, толкались и требовали мороженого, и это еще более раздражало Вадима Соловьева.

Наконец, с неторопливым осмотром было покончено, и все двинулись в Итальянский квартал. Машины негде было поставить, долго кружили по узким грязным улочкам, неприятно напоминавшим Италию. Шумно и придирчиво обследовав пяток кафе, остановились на неопрятной кондитерской с нечистыми столами и громоздкими официантками с белыми мускулистыми руками, открытыми выше локтя. Водку, принесенную с собой, тихонько разлили по чашкам, и запили жидким кофе, зажевали засохшим миндальным пирогом.

Нашли себе занятие и детишки: толпясь у игорных автоматов, они азартно нажимали на кнопки и рычаги, и с экранов доносились звуки приглушенной пальбы; то ли там шел воздушный бой, то ли дрались бандиты. Время от времени кто-то из детишек подбегал к родителям и нудно и плаксиво требовал монетку для продолжения игры. Один ребенок — маленький тяжелый толстячок с ячменем на глазу — делал это особенно противно: он цеплялся за материнские рукава, каючил и топтал толстыми ножками по полу. Не без сопротивления получив деньги, он мгновенно успокаивался и возвращался к автомату. И вновь неслась

с экрана красивая и волнующая пальба из кольтов и автоматических пушек.

Вадим испытывал напряжение, как на скользком льду: свалишься, не свалишься. Из-за своей чашки, поднесенной ко рту, он неотрывно наблюдал за странным, то ли пьяным, то ли одурманенным чем-то человеком за соседним столиком. Человек этот мелкими глотками цедил воду из высокого стакана; казалось, ему больше хотелось сидеть за столом и что-то сосредоточенно представлять себе, чем пить воду. Он, пожалуй, едва ли был пьян от вина или водки, этот человек в грязной жокейской кепке, надвинутой на лоб. Вадим Соловьев еще не сталкивался в своей жизни с наркоманами, но глаза в тени жокейского козырька — мутно мерцающие, смотрящие вовнутрь глаза — навели его на мысль, что перед ним наркоман. Это открытие насторожило Вадима Соловьева, много читавшего книг о наркоманах и об их чудных и чудных видениях, об их необъяснимых поступках, вызванных какими-то таинственными движениями души. Вот и от этого Жокея с опаловыми глазами можно было ждать чего угодно, вплоть до скандала или прямого нападения. Помятое, покрытое жесткой редкой шерстью лицо Жокея не могло вызвать доверия даже у слепца: как бы сшитое из небрежно подобранных лоскутов кожи, оно выражало, тем не менее, абсолютное самодовольство, и только желваки на скулах вздувались и опадали, вздувались и опадали, как будто Жокей грыз железные орешки. Никто, кроме Вадима, не обращал на него внимания, да и ему не было никакого дела до окружающих его людей. Свободно сидел он за столом, и его жилистые волосатые руки с массивными кистями далеко высовывались из коротких рукавов плаща. Проходя мимо него, толстый ребенок споткнулся о

его отставленную ногу в большом башмаке, и Жокей, как бы сверзившись от этого случайного толчка из далеких сфер, уже почти осмысленно проследил ход толстячка к матери и дальнейший его ход от матери к игральному автомату. Услышав приятный звук кинострельбы, он вдруг ухмыльнулся и, не убирая рук со столешницы, сцепил корявые пальцы на манер пистолета — крючком указательного пальца правой оттянул большой палец левой, а указательный палец левой вытянул дулом. "Па!" — сказал Жокей, "па-па!", — и руки его, сцепленные пистолетом, дернулись, как от отдачи при стрельбе. Никто, кроме Вадима Соловьева, не обратил внимания на эту затею Жокея. А Вадим с беспокойством наблюдал за тем, как Жокей все более увлекается игрой, как он, чутко и нервно прислушиваясь к экранной стрельбе, уже отвечает на нее автоматными очередями, и его вначале едва слышное "па!" превращается в раскатистое "трах-тах-тах"... Толстячку, как видно, было отведено определенное место в этих маневрах: единственно на него Жокей поглядывал с откровенным интересом, прочие же люди как бы вовсе здесь не сидели, не жевали и не глотали... Вадим Соловьев был рад этому обстоятельству: он не входил в круг интересов Жокея.

А Жокей тем временем все более увлекался, он вертелся, как заведенный, и посылал по всем направлениям одиночные выстрелы и целые очереди. И поглядывал на толстячка поощрительно, как на ловкого партнера.

— Пускай мальчик перестанет! — перегнувшись через стол к матери толстячка, сказал Вадим. — А то этот тип в кепке, кажется, сбесился.

— Ну, это его дело, — сказала женщина. — Тут много таких, вы просто еще не привыкли.



Руки Жокея тряслись, как будто он удерживал работающий пулемет, лицо его выражало ярость и злобу; стол перед ним ходил ходуном. Вадим незаметно отодвинулся вместе со стулом, чтоб можно было побыстрее вскочить на ноги в случае необходимости.

Миг спустя мягким, кошачьим движением Жокей выудил из внутреннего кармана плаща большой наган и, не целясь, выстрелил в экран игрового аппарата. Ошарашенные дети, не сообразившие, впрочем, в чем дело, отхлынули к родительскому столу. Тесня и толкая детей, родители бросились к двери и вывалились на улицу, к поджидавшему их там Вадиму Соловьеву со сведенными кулаками. Более всего Вадиму хотелось дать по шее толстячку, только сейчас взявшемуся кричать и плакать.

— Бежим! — приказал Володя Бромберг, и вся стайка переместилась на угол квартала.

— Может, полицию вызвать? — предложил Вадим.

— Не надо! — решительно воспротивился Володя Бромберг. — Это здесь не принято. Сами пусть разбираются.

Они и разбирались: двое плечистых молодых людей с круглыми черными глазами, неизвестно откуда взявшиеся, стукнули Жокея короткой кожаной палкой по голове и потащили его из зала кафе в подвал. А в Итальянском квартале никто не реагировал ни на стрельбу, ни на насилие, учиненное над Жокеем.

После этого случая Вадим Соловьев потерял охоту бродить по Нью-Йорку, наблюдая жизнь этого города.

На Брайтон-бич он попал лишь за полчаса до начала своего вечера. Володя Бромберг провез его по набережной, мимо магазинов под рускими вывесками, мимо русских киосков и ресторанов, мимо горстки

пожилых одесситов, танцующих прямо на мостовой танго под патефон. Вадим подивился такому проявлению веселья, но тут же забыл о нем. Он волновался, нервничал: как пройдет вечер, как будут слушать? Рассказ он выбрал непростой, с горчинкой — о московской девчонке, работающей посудомойкой в кафе "Синяя птица" и безответно влюбленной в ослепительного трубача из оркестра. Так вот, этот трубач, женатый человек, не имеющий, однако же, постоянной привязанности, крадет деньги из кассы кафе. Ему грозит тюрьма. И тогда посудомойка — девушка в изначальном понимании этого слова — пересыпает за стопочку мелких купюр с отвратительным и старым гардеробщиком кафе, а потом всю ночь до утра занимается проституцией то в такси, то в подъездах. К утру, растерзанная, еле живая, она приносит деньги трубачу. А трубач к этому времени уже не нуждается ни в каких деньгах — он выплакал у нелюбимой жены цигейковую шубу для продажи и, не разобравшись в чем дело, просто-напросто выталкивает посудомойку за дверь... В рассказе Вадим вкусно написал посудомойку и ее несчастную ночь, а трубач получился, пожалуй, слишком ослепительным. Впрочем, и трубач, и посудомойка были лишь фоном, а речь шла об идиотизме нравственного подвига. К обсуждению этой темы Вадим Соловьев и хотел свести разговор с читателями.

Прочитав на двери магазина писанный от руки плакат "Встреча с писателем Вадимом Соловьевым", Вадим еще более разнервничался. Ах, как жаль, что старик Лир не поехал с ним сюда, отказался под каким-то пустячным предлогом! Ничего у него не болело более, чем обычно, — просто он боялся, что Вадима ждет провал, и не желал присутствовать при

нем. А Вадим, напротив, был уверен, что тема идиотизма нравственного подвига близка вчерашним русским людям, тем более евреям. Над этой темой надо думать, рассматривать ее и так, и эдак, поворачивать разными гранями к свету.

Магазин был заперт, войти в него было нельзя. Прижавшись лбом к дверному стеклу, Вадим Соловьев рассматривал случайное помещение, полки, на которых можно было бы с тем же успехом расставить банки с огурцами или разложить рулоны мануфактуры. За десять минут до начала прикатил на выдавшем виды "Мустанге" хозяин магазина — молодой человек в кепке, похожий на кого угодно, только не на книгопродавца, каким представлял его себе Вадим Соловьев.

— Ну давай! — сказал торговец, отпирая магазин. — Поехали! Сейчас наша кавалерия подтянется. Сказали им — в семь, в полвосьмого придут к финишу.

То ли он раньше играл на скачках, этот парень, то ли сам бегал.

— Они всегда так опаздывают? — сурово справился Вадим Соловьев.

— Евреи же! — беззаботно пожал плечами торговец. — Придут, куда денутся. А чего им еще делать?

Вадим не стал рассказывать торговцу, что он ждет на свой вечер вовсе не тех людей, которым нечего делать. Хорошо, что Лир не поехал — он, Вадим Соловьев, провалился бы под землю со стыда, если бы дядя Саша послушал проклятого торговца и увидел эту дрянную лавку, именуемую "книжный магазин".

В магазине было сыро и сумрачно, пахло то ли мышами, то ли хозяйственным мылом; очевидно, совсем недавно здесь, действительно, торговали отнюдь

не книгами. Посреди помещения расставлено было десятка полтора складных алюминиевых стульев.

— Ангар что надо! — похвалил свою лавку торговец, и Вадим усомнился: а скакал ли он? Может, служил в армии, в авиации? Вадиму вдруг, неизвестно зачем, захотелось узнать, чем занимался этот парень раньше, в России. Скакал, летал? Спекулировал чем-нибудь?

— Овес почему? — сказал Вадим Соловьев, словно бы обращаясь к самому себе. Он плохо разбирался в конском деле.

Торговец посмотрел на Вадима с интересом.

— Толя меня зовут, — сказал торговец. — Толя Гриншпун. Так что будем знакомы.

Стоять у двери магазина, на фоне плакатика, возвещающего о литературном вечере, было тягостно, и Вадим пошел в кафе напротив, попить водички. Через окно кафе он видел, как какой-то старичок, изучив плакатик, вошел в магазин, потом появилась пожилая пара. Вадим отвернулся от окна, уткнулся в свой стакан: смотреть на то, как никто не приходит, было страшно.

Четверть часа спустя, переходя улицу от кафе к книжному магазину, Вадим Соловьев гадал: может, пришли, когда он сидел, отвернувшись от окна, над своим стаканом?

На складных алюминиевых стульях помещалось семеро стариков и старух и молодой человек лет двадцати пяти с плоскими голубыми глазами и розовым лепестком рта в пучине широкой черной бороды. Молодой человек глядел на Вадима доброжелательно, старики и старухи — с любопытством.

— Ну, вот, я же говорил — прискачут, — сказал торговец и снял кепку, приготовившись слушать Вадима Соловьева. — И Шмулик вот пришел.

Отметив про себя, что единственного молодого любителя русской литературы зовут Шмулик, Вадим подошел к прилавку и оперся о него спиной. Перед ним сидели восемь человек, ради которых он приехал из Парижа сюда, в Америку, и с которыми он намеревался рассуждать об идиотизме нравственного подвига. Одна из старух дремала, уронив большое складчатое лицо на плечо, старик — тот, что изучал плакатик, — не доверяя, очевидно, кнопчному слуховому аппарату, подался со стула вперед и приставил ладошку к уху... Более всего Вадиму Соловьеву хотелось сейчас повернуться и бежать в Москву, или обратно в Париж, или даже в проклятый город Рим.

— Я покажу вам рассказ, — сказал Вадим ровным, мутным голосом. — Разбудите, пожалуйста, эту бабушку.

Во время чтения старики сидели тихо, некоторые дремали. Краем глаза Вадим ловил склонившиеся старческие головы, приоткрытые рты. Он читал машинально: произнося слова, не вдумываясь в их смысл. Если бы его сейчас прервали, он не знал бы, с какого места продолжать.

Но его никто и не думал прерывать ни гневным ропотом, ни возгласами восторга. С тем же результатом он мог бы, казалось ему, читать чужую вещь: "Войну и мир", Кафку или марксов "Капитал". Произнося как бы чужими губами чужие, взятые напрокат на этот вечер слова, он мечтал о собственном подвиге: прекратить это никому ненужное губошевеление, выйти и бежать, не оглядываясь. Но он продолжал читать, холодно отмечая, как еще одна отвратительная голова неряшливым узлом упала на чью-то грудь, из еще одного рта вырвался немощный, прерывистый

храпок... Потом он утратил ощущение времени и так стоял, говоря.

Когда он закончил, спящие проснулись от наступившей тишины, и все потянулись к выходу. Уже от двери глухой старик вернулся и проковылял к одиноко стоявшему Вадиму. Сладкая боль сжала сердце Вадима: вот плетется к нему этот старик, его последний слушатель, последняя соломинка, к которой он, литератор Вадим Соловьев, плача и смеясь над самим собою, протягивает руки.

— Молодой человек, — поморгав и поперхав, сказал старик. — Вы не знаете Исроэля Карпа из Одессы? Ах, вы сами не из Одессы? Ну, извините.

И соломинка поплыла, покачиваясь, к двери.

Теперь можно было бежать куда угодно, в любую сторону, но не стало для этого ни сил, ни азарта.

У дверей, на улице, Вадима Соловьева поджидал Шмулик.

— Пойдемте выпьем кофе, — глядя в Вадима своими плоскими глазами, сказал Шмулик. — За счет еврейского народа. Я, знаете ли, работаю в Сохноте.

Вадим вспомнил симпатичного Лысача в Вене и взглянул на Шмулика осмысленно.

— Я не еврей, — сказал Вадим. — Я русский, москвич.

— Все в этом мире, если разобраться, еврей. — Шмулик развел руками, подчеркивая тем, что он ничего не может поделать с таким положением вещей. — В большей или меньшей степени... Вы не волнуйтесь, я вас потом отвезу, куда вам надо.

— Отвезете? — переспросил Вадим, соображая, к кому б ему поехать; к Лиру не хотелось: что угодно — только не рассказывать ему по свежим следам о сегодняшнем.

— Отвезу! — подтвердил Шмулик. Плоские голубые глаза, черная борода и розовый рот в ней — все вместе это производило впечатление забавное и тревожное.

— В Москву отвезете? — спросил Вадим Соловьев как бы мимоходом.

— В Москву — никак, — так же легко ответил Шмулик. — В Израиль...

Вадим невесело улыбнулся шутке Шмулика.

В темном и нечистом кафе сели в уголок, повертели стертые по углам, в пятнах карточки меню. Шмулик заказал кофе.

— Не расстраивайтесь! — вкусно прихлебывая, сказал Шмулик. — Здесь всегда так. Вот с полгода назад устраивали встречу с Пирожковым — было то же самое.

Вадим угрюмо молчал, уставясь в стынувшее кофе.

— Может, хотите съесть что-нибудь? — спросил Шмулик. — Гамбургер?

— Не хочу грабить еврейский народ, — сказал Вадим.

— Значит, гамбургер? — уточнил Шмулик. — С чипсами?

— Вот вы сказали — "здесь всегда так", — Вадим кивнул за окно, на улицу. — Где "здесь"? На Брайтон-бич?

— Ну, я беру шире, — повел рукою с чашкой Шмулик. — Вообще в Штатах. Есть, конечно, люди, которые читают. Но сколько их, сами посудите? Раз-два, и обчелся. Книги дорогие, выбор почти нулевой — я имею в виду эмигрантских писателей. Ну, Пирожков, ну, вот еще Грибов недавно приехал — он, между прочим, в Союзе назывался Кригер. Писатели эти тут перегрызлись, как собаки, они в Москве чаще виделись, чем здесь. Там все были пришибленные, и все одинаково — а тут каждый по-своему. Книжку издать — мечта, а де-

нег-то где взять на эту мечту? У нас, между прочим, первую книжку издают за счет государства.

— Где это? — не понял Вадим Соловьев.

— У нас, в Израиле, — пояснил Шмулик. — Хотите, брошюру вам покажу, там все про это написано.

— Послушайте, — терпеливо возразил Вадим, — зачем мне эта ваша брошюра? Я русский, чувствую себя русским эмигрантом. Понимаете? Это, правда, замечательно, что у вас в Израиле печатают первую книгу — но я-то тут при чем? — Ему снова вспомнился Лысач на венском аэродроме, толпа эмигрантов и пара стариков, ехавших в Израиль. — Если б я был евреем, я с вами тут бы не сидел, а сидел бы где-нибудь в Иерусалиме или даже в армии.

— Вот! — слюдяно блеснув глазами, воскликнул Шмулик. — А вы знаете, что в вас есть что-то еврейское? Вам этого никогда не говорили? Кто ваши родители? Вы в них уверены?

Вадим Соловьев смеялся, покачивая головой. В ком он был уверен — так это в своих родителях. Впрочем, эта тема никогда его не волновала и он над ней не задумывался.

— А вы не смейтесь! — с жаром убеждал Шмулик. — У евреев все бывает. У нас есть один раввин, так его во время войны прятали поляки от немцев, и он даже не знал что он еврей, пока его оттуда не вытащили и не привезли в Израиль... Вы, например, знаете точно, кто была ваша бабушка?

— Какая? — посерьезнел Вадим. — И зачем?

— А вот вы скажите! — настаивал Шмулик. — По линии матери, я имею в виду!

— Мне этот вопрос один раз уже задавали, — сказал Вадим Соловьев. — На Лубянке, в КГБ.



— Ну! — пропустил мимо ушей это сообщение Шмулик. — Так кто она была?

— Ее немцы убили в Киеве в 41 году, — сказал Вадим. — Я и сам этого не знал, мне в ГБ сказали.

— Они-то знают, будьте уверены, — сказал Шмулик. — Так вот, по нашим законам вы имеете право на возвращение в Израиль и на получение гражданства.

— Но это просто чушь! — пожав плечами, сказал Вадим. — Даже если мою бабушку убили немцы, какое отношение я имею к евреям? Чушь!

— Не чушь, а закон, — строго сказал Шмулик. — Вы не думайте, что я такой дурак. Просто у нас все, как бы вам сказать, отличается от других, и законы тоже. Две тысячи лет мы жили врозь, сегодня у нас есть государство, дом. И еврейское государство должно для себя определить, кого собирать со всего света по зернышку: кто еврей, а кто нееврей. И вот решили по такому принципу — по материнской линии. Если оба евреи — и отец, и мать — это, конечно, еще лучше, хотя, понимаете ли, национальность отца вообще не имеет значения... Это, я вам говорю, для государства, а вас лично это ни к чему не обязывает: вы хотите — вы едете в Израиль, не хотите — сидите здесь.

— Почему по материнской-то? — с любопытством спросил Вадим. — А если отец у меня, скажем, еврей, а мама — русская?

— Ну, это-то понятно, — как бы бездосадно подивился непонятливости Вадима Шмулик. — Рожает-то вас мать, женщина, а мужчина только пришел, "спасибо" сказал — и все. Кто он такой, откуда взялся? А насильники, я уж не говорю обо всяких там левых ночных делах? Насильники! Это, знаете ли, довольно страшно. На той же Украине гайдамаки

кого из нас не убили, того изнасиловали. И не только на Украине... В таком деле, знаете ли, за девять месяцев можно все карты спутать, не то что за две тысячи лет. Вот мы и говорим: принадлежность к еврейству передается по линии матери.

— Вообще-то логично, — согласился Вадим Соловьев. — Получается, стало быть, что по вашему закону я — еврей?

— Так получается, — подтвердил Шмулик. — Но закон на вас не давит, в том-то все и дело. Для нас вы — еврей, а кто вы для самого себя — это вы сами решаете.

— Интересная история... — несколько потерянно молвил Вадим, принимаясь за гамбургер.

Откинувшись на спинку стула и редко мигая, Шмулик наблюдал за тем, как Вадим ест. Шмулику было интересно наблюдать за человеком, вдруг узнавшим, что он еврей.

А Вадим Соловьев, жуя, вспоминал о тех, о ком почти забыл за эти полгода, да к которым и в Москве редко обращался мыслями: о родителях. Что они, как? Сняли ли отца с работы или только понизили? Почему они, черт возьми, никогда ни словом не обмолвились о том, что бабушку расстреляли немцы в Бабьем яру? Для того, чтоб ему сказали об этом в ГБ? Или вот этот Шмулик рассказал?

— Это, знаете, не новость, — полуприкрыв глаза, Шмулик глядел на него с сочувствием. — В Союзе это бывает: родители скрывают от ребенка, что он немножко еврей. Так спокойней: не знать, и все. Но потом это иногда всплывает, и начинаются проблемы. Поверьте мне, я не расист, для меня что черный, что желтый — одно и то же. Но мы, евреи, и тут стоим особняком, с самого края. Вот, как говорится, ты

полукровка и тебе надо выбрать, кто ты: еврей или нееврей. Казалось бы, не о чем спорить: нееврею куда лучше. Так нет, ты хочешь стать евреем! Назло родителям! Назло всем! Вот это и есть голос крови, голос упрямой еврейской крови.

— Я как-то над этим не задумывался, — промямлил Вадим. — Какая, в сущности, разница? Еврей, нееврей... Что, на лбу, что ли, должно быть это напечатано?

— Есть разница! — упрямо сказал Шмулик. — Есть! Может, это и плохо, но это не самое худшее, что есть в мире... Возьмите вот мою карточку, здесь адрес конторы и рабочий и домашний телефоны. Я вас не буду смущать тем, что мы издаем первую книгу, хотя и в этом есть свой смысл и расчет для писателя. Мы никого этой книгой не покупаем — ни вас, никого. Но если в вас перевесит ваша еврейская половина и вы захотите стать евреем и израильтянином — позвоните мне. Договорились?

— Вы хотите сказать, что пошлете меня в Израиль? — спросил Вадим Соловьев.

— Именно, — подтвердил Шмулик. — Я здесь для этого и сию. У нас в Израиле двести тысяч таких, как вы и я, бывших русских. Даже свой Союз русских писателей есть. И тоже грызутся.

— А вы откуда? — спросил Вадим. — Не москвич?

— Родился в Ленинграде, живу в Иерусалиме, — сказал Шмулик. — Я вообще-то инженер-строитель, меня сюда на два года послали. Еще полгода осталось.

— И... — Вадим запнулся на миг. — Хочется домой? Вы, действительно, чувствуете, что там — ваш дом?

— Ну, конечно! — Шмулик улыбнулся, его розовые губы поползли по черной стене бороды. —

А здесь — командировка. Я даже подарки всем уже купил... Между прочим, там это не так чувствуется; живешь, как все. Ругаешься: то плохо, это плохо, и жарко. А уезжаешь — начинаешь скучать, хочется домой... Кофе будете еще?

— Нет, спасибо, — сказал Вадим. — Я, все-таки, еврей только по бабушке. Мне так много не полагается.

— Я, знаете, должен двигаться, — Шмулик взглянул на часы. — Отправляю в Израиль одного маляра, он здесь устроился шить трусики в какую-то мастерскую. Ну, ему это здорово надоело и он решил ехать в Израиль, там маляры нужны.

— Значит, вы покупаете его этой возможностью? — оживился Вадим. — Если б маляры были не нужны, он бы здесь остался трусики шить?

— Ну, как вам сказать... — немного задержался с ответом Шмулик. — Он хочет попробовать стать израильтянином, ну и малярничать тоже. Или, если хотите, наоборот... Вы куда едете?

Вадим и сам не знал, куда. Только не к Лиру. Хорошо бы к кому-нибудь, вовсе непричастному к сегодняшнему позору. Приехать, сидеть, может, пить... Вадим назвал адрес вдовы рентгенотехника, который дала ему в Париже Ксения Князева.

Утром, пока хозяйка готовила завтрак и из кухни доносился фабричный гул электроприборов откупоривающих, подсушивающих, сбивающих и поджаривающих, Вадим разглядывал свое лицо в большом зеркале, прикрепленном к стене во всю ее длину, сбоку от кровати, в спальне. Высокое окно спальни было затянуто плотными, но не вовсе глухими занавесями цвета сливочного масла, и притемненный

свет позднего утра сглаженно освещал комнату, кровать с Вадимом в ней, две тумбочки по бокам кровати, туалетный стол с леском флаконов и коробок и круглый мягкий пуф с паутинным клубком одежды. Перегнувшись через пуф, Вадим приблизил лицо к зеркалу и вглядывался. В несомненной роскоши спальни он казался себе чужим, случайным человеком, и его лицо было случайным в этом зеркале. Пытливо вглядываясь, Вадим с внезапной нежностью к себе вспомнил, как много лет назад, мальчишкой, вот так же вглядывался в зеркало, представляя себе свои будущие морщины, так красящие настоящего взрослого мужчину. Скорей бы они появлялись! — молил мальчик и старательно морщил лоб. Если долго морщить лоб, то должны ведь остаться хотя бы следы от морщин... Вот они — никакие не следы, а самые настоящие морщины над бровями, вдоль лба, в углах глаз. Зря ты так гнал картину, Вадим Соловьев! Все приходит в свое время: морщины, спальня с зеркалом, хозяйка спальни в паутинных трусиках, позор и слава, смерть. Было бы славно, если б все это явилось чуть позже назначенного срока. Ах, дурачок, а ты отчаянно морщил лобишко перед маминым зеркалом, не видя Того, Кто за зеркалом, за стеной и за горизонтом. Ты готов был пинать кулачками время, потому что оно тянулось для тебя так медленно. Ты спешил, спешил. Ну, вот, получай теперь свои морщины, чужую спальню и убийственный позор, пришедший точно в срок.

Вадим поднялся с кровати, оделся и наскоро ополоснул лицо в ванной, смежной со спальней. Потом он вернулся в спальню и, сбросив вещи с пуфа, сел на него и стал терпеливо ждать, пока его позовут. Непристально глядя в зеркало, он спрашивал у себя

и у Того, Кто за зеркалом и за стеной, куда ему теперь идти и что делать. И, не получая ответа, поджимал губы и тихонько покачивал головой.

Он не пошел к Лиру — сначала было стыдно за этот позорный вечер на Брайтон-бич, потом стало стыдно, что трусливо не пошел к старику ни сразу после вечера, ни на завтра, ни на третий день. И чем больше проходило дней, тем невозможней казалось ему возвращение к Лиру. Будь что будет, в конце концов! Старик, наверно, обижен до посинения, и он прав. А Вадим Соловьев мерзавец, верно. И все же мир собран из трагедий куда более существенных, чем эта обида, совершенно справедливая... Машинка вот пишущая осталась у Лира на бильярдном столе — но и это, впрочем, не большая беда: она Вадиму Соловьеву, литератору, в ближайшее время не понадобится. Неизвестно, когда понадобится.

Наутро, уйдя из спальни с зеркалом, Вадим туда больше не возвращался. Он не хотел видеть никого из своих знакомых, ни от кого не хотел слышать студенистых слов утешения, не хотел ничьей помощи. Он бесцельно бродил по улицам, питался хлебом, ночевал в подозрительных скверах, добрыми людьми обходимых за версту и дальше. Он был не против, чтоб на него напали бандиты или безумцы, отняли последнее и убили, если тому пришел срок. Он даже искал встречи с лихими людьми — но, как видно, все не там, где надо. К исходу второй недели деньги у него кончились, а лошадь, которую можно было бы съесть, ниоткуда не взялась. Тогда он нанялся зазывалой в турецкие бани, в глубине которых, за мелким бассейном, действовал круглые сутки бардак с восточными, на первый взгляд, девками. В обязанно-

сти Вадима Соловьева входила раздача на углу квартала буклетов, где были изображены в цвете купающиеся в бассейне девки, а также рекламировалась какая-то турецкая курительная смола, придающая мужчинам игривую силу для купания в бассейне и дальнейших радостей жизни.

За работу хозяин бань, пожилой человек по имени Джерри Шапиро, платил Вадиму пятнадцать долларов в сутки и разрешал спать на берегу бассейна, но обязательно нагишом.

— Для рекламы, — коротко объяснил Шапиро равнодушному Вадиму Соловьеву.

Через неделю Вадим научился спать под градом брызг из бассейна, где, накурившись смолы, играли с девками веселые клиенты. Отдохнув, он отправлялся с вышибалой Эбби в соседний кошерный ресторанчик и ел там фаршированную рыбу с хреном. Потом с пачкой буклетов выходил на угол квартала.

Туда, к углу, и подрулил как-то под вечер Володя Бромберг на своем старом шевролете.

— Хорошо, что я тебя встретил, — сказал Володя Бромберг. — Куда ты пропал? Работаешь? — он одобрительно кивнул на веер буклетов в руках Вадима. — Знаешь, Лир вчера умер. Сегодня хоронят. Ты бы подъехал...

— Лир умер... — повторил Вадим. — Да, конечно, приеду. Когда?

— Хоть сейчас, — сказал Володя Бромберг. — Его еврейская община хоронит, они там с этим не тянут: раз-два. Хочешь, подброшу? Я, примерно, в том направлении.

Вадим молча сунул буклеты в карман куртки и сел в машину.

— А почему община хоронит? — спросил Вадим Соловьев долгое время спустя.

— Он же еврей был, — сказал Володя Бромберг. — Кому ж еще хоронить — китайцам, что ли! — И вдруг добавил с торжественной гордостью: — Мы всегда своих хороним — хоть нищий, хоть кто.

Они поспели к выносу тела. Сутулый еврей в черном, в черной шляпе распорядился, напевая что-то заунывно-беспечальное себе под нос. Еще двое, тоже в черном, несуетливо, споро помогали ему.

— Посмотреть нельзя на него? — шепотом спросил Вадим, глядя на белый мешок, в который было завернуто тело.

— Не полагается у нас, — так же шепотом ответил Володя Бромберг. — Умер человек, и нечего на него смотреть.

Носилки с телом накрыли черным бархатным покрывалом с серебряной вышивкой и, спустив вниз, вдвинули в похоронную машину.

— Ну, все... — сказал Володя Бромберг, глядя вслед отъехавшей машине. — Никого у него здесь нет. На кладбище не поедешь? Ребята там будут.

— Нет, — сказал Вадим.

— Ну-ну, — сказал Володя. — Загляни как-нибудь. Бай!

Вадим поднялся наверх, отпер дверь. В комнате Лира мало что изменилось — разве что часть мебели исчезла, замененная новым старьем. Но бильярдный стол стоял на месте, машинка на нем была аккуратно прикрыта полотенцем.

Вадим Соловьев сел на край стола, поглядел на разостланную постель Лира, сильно, с нажимом потер лоб ладонями. Поплыл Лир, поплыл на своих носилках! Машинку прикрыл — от пыли. Куда они



плывут, евреи? Туда же, наверно, куда и русские, и турки. Только евреи, кажется, плывут Туда через Иерусалим. Он, говорят, совсем маленький город, Иерусалим. А Джерри Шапиро, интересно, попадет в Иерусалим? Ведь этого недостаточно — есть фаршированную рыбу, чтобы попасть в Иерусалим, даже на носилках, в белом мешке. А Лир, наверно, попадет, хотя на фаршированную рыбу у него денег никогда не было. Что бы сказал Лир, увидь он Вадима спящим на краешке турецкого бассейна, голышом?

Вадим соскочил со стола, прошелся по комнате. На стуле около кровати Лира он увидел запечатанный конверт с австрийской маркой и прочел на нем свое имя. Письмо было от Мыши, она писала старательным ясным почерком, что все у них по-прежнему, что они беспокоятся о Вадиме, что Захар собирается в Мюнхен с какими-то ребятами посмотреть пинакотеку, и это тоже беспокоит Мышу, потому что документы Захара не совсем в порядке... Вена, еврейские эмигранты, грустный Лысач на аэродроме.

Прочитав письмо, Вадим сложил его и сунул в карман, набитый банными буклетами. Подумал, вытащил буклеты, развернул их пестрым веером и легко выпустил в открытое окно.

Потом взял машинку, сбежал с лестницы и, подойдя к телефону-автомату, набрал номер Шмулика.

Вот так и выходит: он, Вадим, в Иерусалим, а Захар — в Мюнхен.



## 7. ЗАХАР. ЗЕЛЕНАЯ ДЫМКА

Мыша беспокоилась: Захару с его документами надо бы сидеть в Вене и не ездить ни в какой Мюнхен. Да и Захар вначале отмахивался от поездки: какой там Мюнхен, не пропустят через границу. Но — не сильно отмахивался.

Поездку затеяли трое парней — еврейские эмигранты, получившие уже право на жительство в Австрии и пригласившие Захара проехаться до Мюнхена и обратно в их машине. Машина была с австрийским номером, такие машины тысячами ходили ежедневно через немецкую границу без всякой проверки. Так что никакого риска нет, одно только развлечение. Сколько, действительно, можно сидеть в этой Вене, под боком у настоящей Европы!

— Никакого риска нет! — уговаривал и убеждал Захар Мышу. — Мне бы пинакотекку посмотреть... И ребята симпатичные, знают Германию.

— По-моему, они жулики, Захар, — сомневалась Мыша. — Ведь ты бы их даже домой к нам не позвал, если б не эта поездка.

— Это верно, — соглашался Захар. — Но пинакотекка...

И, потом, какой им смысл тащить меня с собой? Это, мне кажется, просто по-приятельски, им ведь от меня никакого проку.

Вздыхая, Мыша соглашалась, что жуликам от Захара никакого проку быть не может. А Захар уже видел себя в Мюнхене, в загадочной Баварии с ее доброй и дурной славой, с ее пинакотекой и неукоснительным, немного пугающим порядком. Ему хотелось на день-другой оттянуть отъезд, а потом поскорей вернуться в Вену, домой. Вырваться, окунуться с головой в нечто запретное, золотисто-вязкое — и бегом назад, в хрупкую кухоньку, как бы прилепившуюся к отвесной скале.

Да и в запретное ли? Ну, остановят его, в крайнем случае, на границе, ну, отправят обратно — вот и весь запрет. Документы? Но вот же ребята говорят, что и до получения документов они сколько раз ездили в Германию — и хоть бы что. Это ведь подумать только — Мюнхен под боком, и лето, и красота какая, наверно, по дороге. Все уже перебывали в Мюнхене, за границей, буквально все, один Захар не был... Коротко говоря, Захар Артемьев отбился от собственных ненастойчивых возражений и решил ехать. Ехать решено было на два-три дня, не больше, ночевать у каких-то знакомых хозяина машины, Додика, парня оборотистого, хотя и совершенно непросвещенного. Глядя на ровно веселого, ни при каких обстоятельствах не унывающего Додика, который, по его собственным забавным рассказам, из семи вод умудрялся выйти сухим, Захар умильно рассуждал о том, что вовсе и ненадобно всем на свете людям травить душу высокими сомнениями. Большинству, может, и не надо, как они, впрочем, и поступают. Сомневающийся в чем-либо Додик не стал бы луч-

ше — но стал бы, несомненно, несчастнее. То же можно было сказать и о его товарищах — Вите и Толике. Разговаривая с ними о ценах на подержанные машины и о партии каких-то застежек к фальшивым цепочкам, Захар испытывал чувство бездумной хмельной бесшабашности, оставлявшей, правда, чуть горьковатый осадок. Содержание этих разговоров он никогда не пересказывал Мыше.

Выехали засветло. По сторонам дороги мерцали в рассеянном свете деревья, словно бы обтянутые матовой полиэтиленовой пленкой. На автостраде было просторно, чисто. Великолепный хмель авантюры кружил Захару голову, его тело представлялось ему ловким и спортивным. Хотелось напевать что-то браваурное и пошрое, и Захар с трудом удерживал себя от этого. Витя и Толик дремали, к удовлетворению Захара: освобожденный от необходимости разговаривать со своими попутчиками, он свободно и радостно глядел в окно, в пространство.

Он и сам не смог бы объяснить, что с ним происходило. Ну, поехал в соседнюю страну, ну, машину приятно покачивает на хорошей дороге, на скорости — вот, казалось бы, и все... Глядя в окно, Захар не желал разбираться в том, почему он почти забыл и о Мыше, и о доме, и о Вене с Ленинградом. Ему, пожалуй, не было бы сейчас так свободно и легко, сиди рядом с ним Мыша вместо дремлющего Толика, человека ему совершенно чужого. Да существует ли реальная Мыша в полусотне километров, в Вене, и существует ли Вена, и он, Захар, существует ли вживе в голом и прекрасном мире по сторонам автострады? Какое это счастье — чувствовать иногда, редко отрешенность от всего в жизни, даже от самой этой крохот-

ной, мгновенной жизни, и только вбирать, как вечный камень, свет и тепло мира.

Границу пересекли легко, как бы посмеявшись над самим этим колючим и стреляющим словом — "граница": никто у них не спрашивал паспортов, не требовал заполнения анкет. Заглянув в машину, немецкий пограничник махнул рукой, и они въехали в Германию. "Ну, теперь все, — несколько даже разочарованно подумал Захар. — Теперь все будет замечательно, раз проехали. Два дня в другом измерении, сорвавшись с цепи". Он почему-то вспомнил Вадима Соловьева, бездомного свободного Пса, колесящего по другой стороне мира, и ему захотелось, чтобы Вадим вышел из леса и проголосовал их попутке. С улыбкой неверия всмотрелся он в лес; никто не вышел оттуда.

По дороге почти не задерживались: хотелось скорей в Мюнхен, сесть в каком-нибудь пивном баре, выщедить по большой кружке пива, съесть знаменитые на весь мир сосиски. Но и в бар не заехали — свернули с автострады под надписью "Центр", сбавили скорость в пригороде. Додик объяснил из-за руля:

— Заскочим на Главпочтамт, возьмем письмишко одно... А потом — гулять!

Захар разглядывал улицы, обсаженные ухоженными, хорошо выкормленными деревьями. От множества этих деревьев, жирно-зеленых, весь город казался погруженным в зеленоватую дымку, и медленная река отдавала зеленым сумраком тишайшей заповедной чащи. Внутренняя мощь города выпирала буграми бетонных площадей, тяжелыми уютными домами, — и тишина векового леса лежала зеленоватым

пластом над строениями... Ни бессмысленной городской толкотни, ни осмысленной суеты города не заметил Захар, проезжая по Мюнхену.

На почте, получив письмо, двинулись было празднично к выходу — желтело уже воображаемое пиво в кружках и сочно пахли сосиски — когда деловито подошли к ним двое плечистых, крепкошеих, с крупными белыми кистями, и один попросил вежливо-медным голосом:

— Ваши документы, пожалуйста!

Советская выездная виза Захара — бело-розовая полоска бумаги с фотографией и надписью по-русски "на постоянное жительство в Израиль" — словно бы развеселила спросившего, человека, по всему, серьезного и даже склонного к мрачной оценке событий. Повертев документ белыми гранеными пальцами, он аккуратно его сложил, сунул в карман и уставился на Захара пристально, но без особого интереса. Удостоверения Додика, Вити и Толика он, как бы прикинув их вес на своей широкой и пухлой на первый взгляд ладони, вернул владельцам.

— Вы пойдете с нами, — сказал он Захару, и Захар вдруг, как удар тока, ощутил страх и смертную, вязкую тоску. Более всего его пугал и угнетал отрыв от его случайных приятелей, и он на миг представил себе на их месте Мышу, и как его уводят от нее. И это еще прибавило боли.

В полицейском участке его вначале, часа на два, поместили в большую комнату, посреди которой стоял стол и два стула. Сидеть Захар не хотел, он бродил по комнате, рассматривая плакаты, которыми были обклеены стены. С плакатов глядели на него террористы и террористки, изображения некоторых из них были аккуратно перечеркнуты крест-накрест: этих, очевид-

но, уже поймали и они сидели в тюрьме либо лежали в земле. Захар впервые в жизни видел изображения террористов в таком количестве.

Время от времени в комнату входили служащие, все больше в штатской одежде, и Захар, с трудом понимая их вопросы, раз за разом сбивчиво повторял свой рассказ о том, зачем он приехал в Германию, как пересек границу, когда уехал из Советского Союза и почему живет в Австрии. Один из опрашивающих предложил ему почитать арабскую газету, и в ответ на слова Захара о том, что он не знает арабского, недоверчиво ухмыльнулся и покачал головой. Другой, в форме младшего офицера полиции, заметил тоном проницательного следователя:

— Вы ведь прекрасно знаете наш язык. Зачем вы делаете вид, что едва понимаете?

— Я учил в школе английский, — возразил Захар, — и то все уже забыл.

— Все евреи говорят по-немецки! — прикрикнул офицер.

— Но я русский! — оправдался Захар.

— Бросьте! — офицер раздраженно взмахнул рукой. — Вы же едете в Израиль, вот тут написано... — он потряс перед носом Захара бело-розовой советской визой.

К вечеру Захара перевели в общую камеру, а утром, взяв с него расписку в том, что он больше никогда не пересечет германских границ, отвезли его на аэродром и посадили в самолет, следующий в Вену.

Куда он летит, Захар узнал уже в самолете, из капитанского радиосообщения; в полиции ему объявили только, что он выдворяется из Германии. Сидя в самом хвосте полупустого самолета, в кресле у окна,

он перелистывал в памяти вчерашний день и, прижавшись лбом к холодному стеклу, благодарил Бога за то, что возвращается к Мыше. Зеленая дымка над Мюнхеном вспоминалась ему, и его пробирал озноб. Он устал, ему хотелось в его кухню — сидеть там за квадратным столом и не выходить никуда. Запереть дверь на замок и сидеть дома.

Самолет приземлился точно в соответствии с графиком, и Захар, расстегивая привязной ремень, вздохнул освобожденно. Открыли дверь, подали трап. Спеша, спустился Захар на землю. У трапа его ждали два полицейских — офицер и рядовой.

— Господин Захар Артемьев? — не смешно, а страшно и грозно коверкая имя Захара, спросил офицер. — Идемте в машину.

Машина с шофером, с включенным мотором стояла по другую сторону самолета; ее не видно было с трапа. "На проверку повезут, — догадался Захар. — Справку, наверно, новую дадут или удостоверение какое-нибудь выпишут". Захар плохо разбирался в документах.

Описав широкий полукруг, машина миновала здание венского аэропорта и понеслась на окраину летного поля. Там, оцепленный автоматчиками, одиноко стоял большой самолет. Машина подрулила к трапу, офицер распахнул дверцу.

— Быстрее! — скомандовал офицер, выталкивая Захара из машины и выходя вслед за ним. — Поднимайтесь!

Стюардесса с верхней площадки трапа призывно махала рукой. Автоматически переставляя ноги, Захар поднялся в самолет, офицер, жестко поддерживая его под локоть, шел за ним. Не успел Захар переступить круглый порожек, как стюардесса, улыбнувшись,



ловко и быстро задвинула дверь. Полицейский офицер сбежал по трапу, трап отъехал.

Захар огляделся затравленно — самолет был полон, пассажиры возбужденно разговаривали, и Захар с ужасом уловил обрывки русской речи.

— Капитан Зеев бар-Гиора приветствует репатриантов на борту своего самолета, — как сквозь глухую стену донеслось до Захара, и он с трудом сообразил, что говорят, действительно, по-русски. — Наш самолет следует по маршруту Вена—Тель-Авив. Сядьте, пожалуйста, на свои места и застегните привязные ремни.

Захар сел, застегнул, закрыл глаза. Он слышал рев двигателей, чувствовал разбег и взлет, и как самолет капитана Зеева бар-Гиоры ушел в небо.

Тот странный и причудливый факт, что Захар летит в Тель-Авив, в еврейскую страну Израиль, никак на него не действовал; с теми же точно чувствами он летел бы сейчас в Бразилию или Гренландию. Его мучило, физически мучило его то, что с каждой минутой полета он становился на сколько-то там километров дальше от Мыши и от того обжитого уже угла, который он с некоторыми оговорками считал все же своим.

Люди в самолете не интересовали его. Он их и не видел, погрузившись в свое совершенное, беспросветное отчаяние. Что он будет делать в Израиле, на другом краю земли? С кем говорить, кому объяснять? На какие деньги вернется назад, на какие деньги даст телеграмму Мыше? Вот, он выйдет из аэропорта, и потом... Потом для него все прерывалось, все перекрывалось черным щитом, непроницаемым, как смерть.

Официантка принесла ему обед, и он сжевал его

жадно, без остатка. Но, спроси его, что он ел — он не смог бы ответить.

После еды, однако, что-то изменилось в его состоянии: шум вокруг него, прежде монотонный, разделился на гул двигателей, на разговоры соседей. И, наконец, до него дошел смысл обращенного к нему вопроса:

— Простите, а вы сами откуда будете?

Спрашивал круглоголовый здоровячок со стальными зубами, с двумя рядами медалей и орденов на груди черного потертого пиджачка. Действительно, откуда он: из Мюнхена, из Вены? Или из Ленинграда?

— Вы не с Киева? — помог Захару Здоровячок. — Мне ваше лицо, как будто, знакомое.

Первый вопрос эмигрантов: "Вы откуда?" И если даже и не оттуда, откуда бы особенно хотелось, — все равно приятно из уст незнакомого человека услышать имя знакомого города.

— Я из Ленинграда, — сказал Захар.

— А я с Киева, — дружелюбно сообщил Здоровячок. — Михал Наумыч меня зовут, будем знакомы. В Израиле, говорят, по отчеству не полагается — так что просто Миша.

— Не полагается? — спросил Захар. — А почему?

— Ну, не знаю! — пожал плечами, позвенел медалями Миша. — Не полагается.

Он вытащил пачку "Севера", протянул Захару, а потом закурил сам. Вдохнув вонючий дым, Захар вдруг почувствовал расположение и близость к этому Мише, курящему в самолете Вена—Тель-Авив дешевые русские папиросы.

— А я в туалет ходил, — продолжал Миша, — гляжу — вы вроде спите, а лицо все ж таки знакомое... У вас там родня или как?

— Где? — спросил Захар.

— Там, — Миша кивнул в окно. — В Израиле.

— Нет, — сказал Захар. — Никого нет.

— Ну, ничего, — обнадежил Миша. — Женитесь, семью заведете. У меня, вон, жена сидит, да сын с женой, да внучка. Во-он, видите? А сестра в самом Тель-Авиве живет, четыре года, как уехала.

Евреи летели в Тель-Авив, к сестрам и не к сестрам, и Захару Артемьеву неловко было признаться им в том, что он, Захар, летит вместе с ними по недоразумению, что он русский человек и что Мыша ждет его в Вене. Мыша никогда не была для Захара еврейкой, как и русской не была: что-то такое, чего нельзя было объяснить и истолковать, помещало ее в стороне и от таинственного еврейства, и от привычного милого русопятства на некое возвышение. Может быть, это происходило оттого, что в жилах Мыши текла кровь той же закваски, что и в жилах Иисуса из Назарета, а может, просто Захар любил Мышу и не понимал, как он может быть без нее — один или с кем-нибудь, не с ней.

Час шел за часом, внизу за окном темнело море, а Тель-Авив оставался для Захара все тем же расплывчатым и чуждым понятием — краем земли. Евреи, летевшие в Тель-Авив, курили и дремали, листали какие-то брошюры и, уверенно перебрасываясь странно звучащими названиями городов — Бат-Ям, Кирьят-Оно — обсуждали свою будущую жизнь. Эта жизнь была так же отъединена от Захара, как жизнь на Луне или иной планете. А бело-розовая бумажка с надписью "на постоянное жительство в Израиль" источала смертный холод: задержат, не отпустят обратно, отправят в пустыню. Он слышал в Вене рассказы о том, что иммигранту выехать из Израиля трудно, почти невоз-

можно, что нужно возвращать деньги за перелет из Европы, что для получения выездной визы необходимы какие-то бесчисленные справки и бумажки. Ничего этого не было у Захара: ни денег, ни бумажек. И, после еды и разговора с Михал Наумычем, именно это обстоятельство смущало его более всего: без денег, без бумаг, на краю земли. Ведь могут не поверить, могут принять за шпиона, Бог знает, что могут... А где спать, что есть? А то, что он — русский?

На исходе четвертого часа показался берег, и пассажиры, толпясь, бросились его рассматривать. Берег был плоский и, кажется, голый; впрочем, трудно было его рассмотреть.

Михал Наумыч стал озабочен.

— Историческая родина, — сказал Михал Наумыч, склоняясь к окну над сидящим Захаром. — Это тебе не хрен собачий... Песок, что ль? Тель-Авива пока не видать.

Малое время спустя показался и Тель-Авив, и Захар скорбно глядел на его желтые и серые дома. Пассажиры, наконец, расселись, пристегнулись — и вот уже плиты посадочной дорожки скользнули под крыло.

У трапа ждали деловитые молодые люди, указывали:

— В автобус! В автобус, пожалуйста! — и переговаривались между собой на непонятном, быстром языке.

— Из России? Нет-нет, вам не сюда! В этот автобус, пожалуйста!

Собрав эмигрантов в два автобуса, молодые люди последними вскочили на ступеньки и дали знак шоферам. Далеко ехать не пришлось: автобусы подрулили к зданию аэропорта, и молодые люди, отсекая эмигрантов от туристов и прочего летающего люда, прове-

ли их через какую-то боковую дверь в большой чистый зал с сотней кресел посередине. "Добро пожаловать на Родину!" написано было на щите над входом в этот зал.

Захар глядел по сторонам, гадая, к кому бы обратиться: к этому ли старику, объявившему, что он приехал сюда сорок два года назад и что его зовут Яшей, или к одному из молодых людей, или к тому борода-тому мужчине в черной шелковой куртке и в ковбойских сапогах, что гуляет, заложив руки за спину и поглядывая на иммигрантов, вдоль стены зала.

— Так, — обратился тем временем к приезжим старик Яша. — Ну, так... Дорогие друзья! Итак, вот вы приехали и вот вы уже на родине после вашей героической борьбы. Разрешите поздравить вас с этим великим днем в вашей жизни! Так... А теперь мы займемся нашими текущими делами и давайте сначала запомним слово "савланут", которое означает на русском языке "терпение". Итак, савланут! И теперь я вас буду вызывать, и вы пойдете в эту комнату оформлять ваши документы. Пока все понятно? Так... Приготовьте ваши визы! — и старик Яша помахал бело-розовой советской бумажкой.

Захар долго ждал вызова: час или более. За широким, во всю боковую стену, окном вдруг стемнело, как будто опустили занавес с нарисованными на нем блестками далеких и близких огней. Иммигранты чем-то возмущались, чему-то радовались, слонялись по залу с полицейским у выхода, жевали бесплатные бутерброды и пили сок. Все они давно перезнакомились между собой, какие-то загадочные для Захара общие интересы объединяли их в единое целое с множеством рук, ног и голов. Захар сидел, сгорбившись, в своем кресле, ждал. Наконец, вызвали и его.

— Возьмите, пожалуйста, вашу визу, — сказал старик Яша, — и садитесь вот сюда.

— Понимаете ли, господин... — сказал Захар, не садясь.

— Яша, — сказал старик. — Вы можете меня звать Яша. Это очень просто. Все евреи зовут друг друга по имени.

— В том-то и дело, — как бы извиняясь, сказал Захар. — Я — русский.

— Русский? — старик Яша взглянул на Захара с интересом. — Так ваша жена — еврейка?

— Вообще-то она еврейка, — сказал Захар. — Но она — христианка, и...

— Христианка? — с еще большим интересом спросил старик Яша. — Но вы же говорите, что она еврейка?

— Да, — сказал Захар и покивал головой. — Она осталась в Вене. Она — еврейка, принявшая христианство. — При этих словах Захара старик Яша вытянул губы трубочкой и поморщился, как от кислого. — И я тоже христианин, и попал сюда просто по недоразумению, понимаете ли, по страшному недоразумению.

— Так вы — тоже христианин? — то ли с сомнением, то ли с осуждением в голосе спросил старик Яша, как спрашивают о чем-то интимном и не вовсе безоблачно чистом. — Так, так... Подождите минутку. Или лучше идемте со мной.

Они быстро пересекли зал и подошли к бородачу в ковбойских сапогах. Яша, помахивая короткими ручками, заговорил с бородачом на иврите. Бородач слушал молча и глядел на Захара дружелюбно.

— Ну, так, — сказал Яша, переходя на русский. — Этого парня зовут Цви. Просто Цви. Он тоже понимает по-русски. Так вот, расскажите ему, как вы сюда попали.

— Идемте сядем где-нибудь, — сказал Цви и улыбнулся. — Хотите кофе? Да вы не волнуйтесь. — Он говорил на отличном русском с московским, пожалуй, произношением. — Можно взглянуть на вашу визу?

— Вы меня поймите, — начал Захар, — вся эта история просто чудовищная. Я сам в ней виноват, это верно — а потом все покатилося, покатилося... У меня жена в Вене, мы на Толстовском фонде.

— Понятно, — сказал Цви. — Дурацкая, действительно, история. Но давайте по порядку. Как вы очутились в этом самолете?

Захар рассказывал долго — про поездку в Мюнхен, про ночь в полиции, про возвращение в Вену. Цви слушал внимательно, переспрашивал, записывал что-то в блокнот. Они сидели в маленькой комнатке, отделенной от зала тонкой пластмассовой стенкой; шум голосов, перекрываемый иногда выкликающим голосом старика Яши, доносился до них.

— Мы, понятно, не будем вас здесь удерживать, — сказал Цви, выслушав Захара. — Но нам нужно связаться с австрийцами и утрясти с ними это дело — иначе они вас просто не впустят в Австрию. И, второе: билет до Вены. Вы деньгами не богаты? Ну, понятно... Попробуем договориться с нашей авиакомпанией, чтоб они вас бесплатно довели.

— Вы это сделаете? — спросил Захар, почти не веря своим ушам. — И меня отпустят отсюда?

— У нас есть выход? — усмехнулся Цви. — Как вы думаете?.. Это, правда, все требует времени, но, я надеюсь, завтрашним рейсом мы вас отправим. До завтра вам придется просидеть на аэродроме, поспите в медицинской комнате, там есть койка. Талоны на завтрак и на обед я вам дам, это не проблема. И послед-

нее: вы можете ходить по аэропорту куда хотите, но на улицу выходить нельзя — вы не прошли пограничный контроль.

— Спасибо, — сказал Захар. — Спасибо вам большое... Я, откровенно говоря, когда сюда летел, все себе представлял иначе. Вон немцы меня для начала отправили в тюрьму.

— Ну, мы ж, все-таки, евреи, — наморщил лоб Цви. — Держите вот талоны. Вам тут объяснят, как пройти в столовую для персонала.

Через двадцать минут Цви связался по телефону с секретарем венского отделения Толстовского фонда и попросил телеграфно удостоверить личность Захара Артемьева. Телеграмма из Вены была получена под утро. Под гарантию Фонда австрийские власти согласились разрешить Захару Артемьеву въезд в страну. После некоторого нажима пассажирский отдел "Эл-Ал" дал "добро" на оформление бесплатного билета. Покончив со всеми этими делами, Цви сел в свой фиат и приехал домой, в Иерусалим, в третьем часу ночи.

Он был родом из Ленинграда, Цви, и ему почему-то было приятно помочь земляку.

После разговора с Цви время для Захара словно бы потянулось, заскользило в обратном направлении. Он видел себя в Вене, окрашенной в мягкие палевые тона — в той славной Вене, из которой он не уезжал ни в какой Мюнхен и не прилетал ни в какой Тель-Авив. Он видел себя на тенистых улицах, по которым неторопливо и без особого дела прохаживался, и в своей квартире, на кухне, и видел Мышу рядом с собою — как три дня тому назад. Возвращаясь памятью в Вену, он почти физически ощущал тихое счастье жизни в этом городе.



Он поужинал с сотрудниками иммигрантского отдела, сплошь говорившими по-русски, и охотно рассказал им — уже с юмором, с несмелой улыбкой — свою историю. Его диковинный рассказ слушали с сочувствием: попал, мол, парень в переplet, затащило-таки русака на еврейскую землю! Ну, ничего, завтра улетишь, парень, и не поминай нас лихом...

Идти спать в медицинскую комнату Захару не хотелось. Он вдруг, внезапно осознал, что он — в Израиле, на Святой Земле, что где-то совсем рядом с этим самым аэродромом — Назарет, и Вифлеем, и Иерусалим. И несущественно, что он, Захар, в силу каких-то формальных обстоятельств не может немедленно, сейчас же отправиться туда, в древние храмы, и пройти, неся свой крест, по Виа Долороза. Это несущественно — потому что predetermined волею случая он, все же, оказался здесь. На этот раз его привезли, указали ему дорогу. В другой раз он придет сам. Он знает теперь, что это его цель, это его долг.

В ту ли, в другую ли сторону — но время двигалось быстро и неутомительно. Бродя по аэропорту, Захар останавливался у мигающих табло, показывающих последние рейсы, разглядывал поздних пассажиров. Потом пришел последний самолет, и вскоре зал совсем опустел; только таможенники дремали в своей будке, да два-три уборщика лениво попевали за своими мощными машинами, похожими на больших ползущих жуков. Машины гудели, за ними на каменном полу полз чистый след, оставленный как бы широким влажным языком.

Захар взял со стойки пустого туристского бюро стопку рекламных проспектов и присел на бортик багажного конвейера. Со скверной бумаги проспек-

тов глядели на него храмы и кабаки, пляжи и рынки. Глядели солдаты и монахи, раввины и манекенщицы. Пустынный зал, обширный, как ангар, наполнился их непрерывным гортанным говором и стал от этого еще пустынной, еще неправдоподобней — мраморный спящий сарай на краю бетонного поля, посреди земли, с маленьким Захаром, сидящим на бортике конвейера, с рекламными брошюрками на коленях... Все это было, несомненно, чудом, цепью событий неслучайных — попытка раздвинуть границы внешней свободы, арест в Мюнхене, отчаяние, почти предсмертное, по дороге сюда и, наконец, просветление и освобождение здесь. Все это было задумано, бесстрастно и мудро запланировано давно, еще до того, быть может, как неуловимое движение духа было названо людьми — Временем. Здесь, в этом пустом зале, заканчивается что-то для Захара Артемьева — и что-то новое начинается.

Захар поднялся с конвейера и, пересеча зал, вошел в уборную. Там было пусто, прохладно и чисто какой-то скучной, больничной чистотой, чистотой операционной. Высокие кафельные стены сияли, деловито журчала вода. Захар поглядел в широкое зеркало над умывальниками, скорчил унылую мину, а потом подмигнул своему отражению и счастливо улыбнулся: завтра в это время он непременно будет в Вене, дома. Поскорей бы наступало завтра.

Он не слышал, как приоткрылась входная дверь, пропуская кого-то — слышал только, как стукнула и защелкнулась дверца соседней кабинки. И сразу же там заговорили двое — быстро, приглушенно.

”Педерасты” — брезгливо предположил Захар. Ему было до тошноты противно ощущать себя неволь-

ным свидетелем свидания этой пары в полуметре от себя, здесь, в уборной.

Говорили на иврите, и в звучании непонятных слов Захар не слышал ни страсти, ни предстрастного волнения:

— Это с амстердамского рейса. Держи.

— Пакет подменил?

— Конечно. Стеклянная крошка.

— Дай-ка я проверю... Да, камни. Все чисто.

— Смотри, не рассыпь.

— Ладно... Рассчитаемся завтра, в шесть. Хочешь долларами?

— А ты что думаешь — лирами? Задаток дай.

— На вот. Здесь три карата будет. Завтра вернешь.

— Как ты выходишь? Прямо или через поле?

— Это мое дело. Пошли.

Щелкнула задвижка дверцы, и снова послышался голос — сдавленный, угрожающий:

— Эй! Тут кто-то есть!

Дверца Захаровой кабинки отлетела, как будто в нее ударили тараном, обернутым во что-то мягкое. На пороге, пригнув плечи, стоял человек в комбинезоне аэропортовского грузчика. Нож в его руке, несильно отведенной назад, был похож на полоску серебряной конфетной бумажки.

В пассажирском зале было еще чисто и пусто — рейсовый самолет из Нью-Йорка должен был приземлиться через сорок пять минут.



## 8. ХРУСТАЛЬНАЯ КРОНА. ЛОД

Самолет, следовавший рейсом из Нью-Йорка, приземлился через сорок пять минут. Спускаясь по трапу, Вадим Соловьев вертел головой, оглядывался — но почти ничего нельзя было различить и увидеть в теплой тьме ночи, кроме хрустальной горстки огней, рассыпанных по краю аэродромного поля. Там — с его охраной, с его пограничниками, с его шестиконечными звездами на паспортных штемпелях — там был еврейский аэропорт, связанный некоей живой пульсирующей нитью с киевским Бабьим яром и, значит, с той незнакомой старухой, которую немцы убили в 41-м году и которая приходилась Вадиму Соловьеву бабушкой. А черный воздух над бетоном поля не был связан ни с кем и ни с чем, он существовал для всех одинаково.

Вадим Соловьев спешил из этой ничейной ночи к свету аэропорта, спешил без оглядки переступить порог этой странной страны, которая почему-то оказалась его страной. Бог, судьба или случай привели его сюда, он никому не служил ни семь, ни два раза по семь лет вот за эту полученную в Нью-Йорке бумаж-

ку, дающую ему право за страну Израиля. Странно, странно! Та старуха, выходит, своей кровью оплатила эту бумажку почти сорок лет назад, та незнакомая старуха, о которой он никогда раньше не вспоминал и к которой испытывал теперь запоздалую, робкую признательность. Так вот получилось, без всякого в том участия Вадима Соловьева, что братская могила Бабьего Яра связывает его, Вадима, семью, его корни с хрустальной кроной, сверкающей на краю поля. Странно.

Он неуверенно предъявил свою бумажку девушке в полицейской форме, и та, не находя в этом ничего странного, провела его к какой-то боковой двери, за которой начиналась широкая однопролетная лестница, ведущая вверх. "Добро пожаловать на Родину!" было написано на щите перед входом в большой безлюдный зал с сотней кресел посередине.

Стеклянная дверь зала была заперта; заглядывая вовнутрь, Вадим нажал белую кнопку звонка. На звонок явился высокий молодой человек, не старше Вадима, и, отперев, молча протянул руку за Вадимовой бумажкой.

— Родились в Киеве? — пробежав бумажку, спросил молодой человек. — Говорите по-русски? Идемте со мной.

В маленькой комнатке он усадил Вадима за стол и, то и дело сверяясь с бумажкой, заполнил опросный лист, а потом какую-то синенькую книжечку и, вложив в нее деньги, сказал:

— Держите, с этим вы пойдете и получите паспорт... Будет хорошо. Так у нас говорят: будет хорошо! Но — когда? Этого евреи не знают, это знает Бог. Хотите получить молитвенные принадлежности?

— Какие принадлежности? — переспросил Вадим.

— Кипу, тфилин, талит, священные книги, — перечислил молодой человек. — Это бесплатно. Берет, кто хочет. Кто не хочет — не берет... Ну, так как? Берете?

— Но я никогда не был в синагоге... — промямлил Вадим Соловьев.

— Значит, не берете, — подвел итог молодой человек. — Я, когда приехал, тоже не взял. С тех пор прошло уже десять лет, и я об этом ни разу не пожалел. Будьте здоровы!

— А куда мне теперь идти? — робко справился Вадим. — Вы меня извините, но у меня здесь никого нет, и ночь...

— Ясно, что не день, — согласился молодой человек. — Вам в Нью-Йорке ничего не объяснили? Мы вам сейчас дадим машину и отправим вас на полгода учить иврит в Кфар-Ям, это рядом с Тель-Авивом. Багажа у вас много?

— Нет багажа, — сказал Вадим Соловьев. — Вот это — все, — он указал на баул у своих ног и на пишущую машинку.

— Это все? — подивился молодой человек. — Ну, что ж, бывает... Вон ваш шофер идет, он вас отвезет.

Шофер, крупный молодой толстяк с розовым лицом, сообщил Вадиму, что он родом из Кишинева, что все будет хорошо и что унывать в Израиле не следует ни при каких обстоятельствах. Потом он спросил, нет ли у Вадима охотничьего ружья на продажу.

Они спустились вниз и, беспрепятственно миновав таможенный заслон, вышли на улицу. После охлажденного кондиционерами воздуха аэропорта душная тьма ночи приняла Вадима Соловьева, но он, настроенный торжественно и благодарно, не почувствовал духоты: ему ни с того, ни с сего дали машину

до этого самого Кфар-Яма, и голубую книжечку, и деньги, и даже предложили эти молитвенные штуки. Но нельзя же хватать все, что тебе дают, это просто бессовестно.

— Ты постой вот здесь, я сейчас машину подгоню, — сказал шофер.

Вадим Соловьев терпеливо стоял, где ему было указано, когда двое санитаров пронесли мимо него носилки с телом, укрытым одеялом с головой. Открыв заднюю дверцу "Скорой помощи", они втолкнули носилки в машину, и один из них сел за руль.

Вадим нехотя вспомнил комнату Лира, и как Володя Бромберг сказал: "Мы всегда своих хороним, хоть нищий, хоть кто..."

А потом подъехал шофер, и Вадим, уже сидя в кабине, сказал как бы между прочим:

— А тут, знаешь, пока ты ходил, мертвеца какого-то пронесли.

— Да, — кивнул шофер. — Зарезали одного парня в уборной. Но ты не бери в голову — у нас это редко бывает! Забудь, и все.

И, пока ехали до Кфар-Яма, Вадим Соловьев добросовестно старался забыть об этом досадном происшествии.

Еська, двадцатилетний Вадимов сосед по комнате в общежитии Кирьят-Ям, не занял в его жизни никакого места, как не отведено в жизни человека места для радиоприемника, звучанием или приемистостью которого можно, однако же, искренне восхищаться. С утра и до позднего вечера этот Еська слушал портативный магнитофон, который он повсюду таскал с собою: в столовую, на пляж и к воротам общежития, где он, сидя на модернизированном подобии завалин-

ки, лузгал семечки и коротал время в беседах со своими приятелями. Песни у него были разные: битлы, и Высоцкий, и японские сексмелодии, состоящие из стонов, выкриков и сухого барабанного постука. Свои планы на будущее Еська изложил Вадиму Соловьеву в первое же утро знакомства:

— Вот расторгуюсь до конца и махну в Штаты. А что мне тут делать!

Затем, под "Желтую субмарину", последовал перечень того, что подлежало распродаже:

— Швейная машинка, бильярдные шары, стол рижский, бинокль театральный, лодка резиновая без мотора, набор матрешек и еще кое-что, по мелочам.

Весь этот товар, частично уже ликвидированный, был привезен из России для продажи.

— Я не жалею, что приехал, — сидя на мраморной завалинке, объяснял свою жизнь Еська. — Тут тепло, море, как в Сочи, и Израиль посмотрел. И, потом, в Америке мое барахло и за полцены не спихнешь, а здесь берут. Приеду в Штаты — на первое время хватит перебиться.

Познакомившись с проектами своего соседа, Вадим потерял к нему интерес. На Еськины расспросы о Нью-Йорке он мычал что-то невразумительное и выходил из комнаты. Впрочем, Вадим Соловьев не испытывал к Еське враждебных чувств.

Важная информация о жизни в общежитии стекалась к новичку со всех сторон. Завтрак — в восемь, обед — в два, ужин — в семь. В саду напротив можно по вечерам воровать апельсины. Кормят бесплатно, но денег на удовольствия не дают. Американская девка с третьего этажа не возражает против русских ребят, но она слишком толстая и с ней не о чем говорить. Билеты в кино дико дорогие. Подрабатывать можно



на картонажной фабрике — грузчиками или в сумасшедшем доме — санитарями. Директор общежития — сука и фашист.

Несмотря на подлость директора и досадную чрезмерность американки с третьего этажа, молодые постояльцы жили весело и, главное, совершенно независимо от начальства. Кроме того, здание общежития было красиво, и это тоже понравилось Вадиму Соловьеву.

Директор Боря Фрумкин вызвал его для знакомства на второй день по приезде. То был довольно плотный человек лет сорока с большим лицом и круглыми голубыми глазками то ли младенца, то ли садиста. Скучная полуулыбка была не к месту на его лице; так улыбаются люди, здоровье которых, по их мнению, оставляет желать лучшего.

— Вам, наверно, уже известно, — не подымаясь из-за стола и не предлагая Вадиму сесть, сказал Боря Фрумкин, — что Кфар-Ям — ульпан для молодых одиночек. Пьянствовать я тут не разрешаю, приводить посторонних на ночь не разрешаю. Вот вы пишете в вашей анкетке, что вы — писатель. А что вы умеете делать, кроме этого?

— Да, я писатель, — сказал Вадим Соловьев немного в нос. — А вы, как я понимаю — комендант общежития. Вы кроме этого что-нибудь умеете?

— Я директор центра абсорбции для новых репатриантов, — немного повысил голос Боря Фрумкин, и глазки его сделались свирепыми. — И я вам по долгу службы советую пойти на курсы счетоводов. У нас тут писателей хватает. Каждый второй еврей или музыкант, или писатель. Есть еще курсы программистов.

— Я, знаете ли, сам хочу во всем этом разобраться, — сказал Вадим. — Я для этого и приехал.

— Мы сюда приезжаем, чтобы жить в еврейской стране, строить ее и защищать, — назидательно поправил Боря Фрумкин. — Соловьев — это ваш литературный псевдоним?

— Нет, зачем же, — сказал Вадим. — Вы хотите спросить, еврей ли я? Да, по бабушке. Этого разве недостаточно?

— Это не мое дело, это дело министерства внутренних дел, — сказал Боря Фрумкин. — Если захотите на курсы, напишете заявление.

— Знаете, я пойду, если можно, — сказал Вадим. — Рад был познакомиться.

— Идите, — кивнул Боря Фрумкин. — Нелегко вам тут у нас придется.

В этом своем прогнозе он не ошибся.

Выйдя от директора, Вадим Соловьев угрюмо предположил: "Этот мелкий мерзавец доживет без хлопот лет до ста. Он знает, как надо жить, тайные пороки его не грызут. Ему даже, кажется, не жарко в его пиджачке с короткими рукавчиками. Интересно, получает ли он творческое удовлетворение, когда пишет резолюции на своих вонючих бумажонках?"

Вадим Соловьев ошибался совершенно.

Боря Фрумкин втянется в биржевую игру, вложит в нее и деньги, и душу и умрет от искреннего горя, от инфаркта, над губительным для него листком "Биржевого вестника", на сорок шестом году жизни, на девятом году по приезде в Израиль из Даугавпилса, что в Латвии. Ни один из его подопечных не пойдет за его похоронными носилками. В дневнике покойного, кроме пронумерованного перечня случайных любовниц, их возраста и специфических примет, вдо-

ва с изумлением обнаружит такую запись: "Всю свою жизнь я мечтал о писательской карьере и о славе. Только биржа сумела подавить во мне эту страсть. Власть над деньгами куда сильнее власти над душами".

Тель-Авив понравился Вадиму Соловьеву: город как город, не слишком большой, но не такой уж и маленький. Старый Центр с его кривыми улочками и кособокими обшарпанными домами вдруг напомнил ему Киев, и что-то всплеснуло в его душе, и он подумал с испугом: "Что это я?! Да плевать я хотел на этот Киев..." Хотел плевать — да не плюнул.

С Семой Рубиным, председателем Союза русских писателей в Израиле, Вадим договорился встретиться в маленьком кафе возле центрального концертного зала. Вадим пришел первым, за четверть часа до условленного времени. Потягивая через пластмассовую соломинку холодный грейпфрутовый сок, он ждал, волнуясь: как-никак, председатель, как-никак, Союз русских писателей. Это, должно быть, свой человек, не какой-нибудь гнусный управдом Боря Фрумкин с его советами идти в счетоводы.

Сема Рубин, моложавый брюнет с ранней сединой, явился с расхристанным парнем в шортах, в кожаной кепке.

— Вот, знакомьтесь, это Славка Кулеш, он тебя читал, — сказал Рубин, садясь. — Давайте все на "ты", это проще.

— Я твои "Мощи" читал, — сказал Славка Кулеш. — В России еще.

— Хорошо-то как... — сказал Вадим Соловьев, улыбаясь блаженно. — Я тебя тоже читал. "Конец света" — это твое? И "Болото"?

— "На берегу болота", — поправил Славка Кулеш. — Но это не главное.

— "Конец света" по английски вышел? — сказал Вадим. — Мне ребята в Америке говорили.

— Во Франции тоже вышел, — сказал Славка. — Это старая вещь. Хрен с ней, будь она здорова. А ты, старик, молодец, что приехал. Нас тут и много — и мало. Привез что-нибудь?

— Есть кое-что, — сказал Вадим Соловьев неопределенно. — Мало. Так, рассказов тройка.

— Можно в "Голос" дать, — предложил Сема Рубин. — Или в "Слово". Или на иврит перевести и дать в "Три семерки".

— В "Голос" не надо, — жестко сказал Славка Кулеш. — Перебьются они там без Соловьева. Я точно знаю: у них прозы нет, пусто! Еще немного, и они закроют свою лавку к чертовой матери.

— Чего ты на них взъелся! — как бы укорил Рубин. — Выходят себе — и пусть выходят. Не хуже других.

— Не люблю, — сказал Славка, вытирая потный лоб кожаной кепкой. — Гниды они. Чиновники... А тебе, — он оборотился к Вадиму, — надо в Союз вступить и для начала получить какую-нибудь стипендию. Ты пиво пьешь?

— Пью, — сказал Вадим.

— Тогда пошли, мальчики, — сказал Славка Кулеш. — Тут за углом есть одна забегаловка, там пиво бочковое дают. Шпикачки, правда, некошерные.

Вадим Соловьев вспомнил кошерные обеды с бардачным вышибалой Эбби и ухмыльнулся. Эбби ни за что на свете не стал бы есть некошерные шпикачки.

В прохладном и сыром пивном баре сели за углом

вой столик, подальше от входа, от слепящего и обжигающего света.

— Все у нас хорошо, — сказал Славка, промакивая мокрое от пота лицо салфеткой, — только жарко. Ну, нет нефти — так хотя бы климат был приличный! Как же, держи карман... Ты знаешь что, пиши-ка заявление в Союз, о приеме. А я тебе рекомендацию сочиню.

— Бумаги нет, — сказал Вадим Соловьев, хлопая себя по карманам. — Всегда ношу, а сегодня не взял, как назло.

— Без бумаги кисло заявление писать... — кивнул головой Славка Кулеш. — Как нет бумаги! А салфетки!

— Оставь, Слава! — досадливо поморщился Рубин. — Какие салфетки! Не хватало еще на туалетной бумаге писать. Это все же Союз писателей!

— Тоже мне — Союз! — фыркнул Славка, разглаживая салфетку перед Вадимом. — Федин ты, что ли? Это же колоссально для истории — Вадим Соловьев пишет заявление в Союз русских писателей Израиля на пивной салфетке!.. Я рекомендацию тоже на салфетке напишу. Я тоже хочу в историю, Сема!

Писали, потягивая пиво, похрустывая соленым печеньем. Сема Рубин сидел, откинувшись со стулом, поглядывал укоризненно.

— Ну вот, — сказал Славка Кулеш, закончив. — Теперь, считай, полупорядок. А порядка все равно не будет, он в Швейцарии живет, не в Израиле. Но со всеми этими бумаженциями, все же, проще: теперь книжку собирай, страниц на двести пятьдесят.

— Напечатают? — с сомнением, с надеждой спросил Вадим Соловьев. — Книжку?

— Машина все печатает, — сказал Славка. — Что туда засунешь, то она и печатает.

— Мы пять лет это право выбивали, — торжественным голосом дал справку Сема Рубин. — Я минимум сто писем написал, сам.

— Памятник тебе поставят на площади Царей израилевых, — сказал Славка. — За пробой.

— Зря смеешься, — поскущел Рубин. — Ты, между нами говоря, ни одного письма не написал, а для Союза...

— Я книжки пишу, — хохотнув, перебил Славка Кулеш. — С меня этого хватит.

— А Союз — где? — спросил Вадим Соловьев. — Далеко отсюда? Библиотека там есть?

— Где мы — там и Союз, — беспечально махнул рукой Славка. — Сейчас в пивной. А выйдем отсюда на улицу — считай, что на улице... Слушай, мы же нищие! Думаешь, у Союза есть особняк, как в Москве, или хотя бы одна завалящая комнатенка в коммунальной квартире? Ни хрена у нас нет, одно название. И литература здесь — и не только здесь, а повсюду, во всем мире! — поблядушка базарная, она в кармане сидит у чиновника какого-нибудь дерьмового в министерстве, или у спекулянта, или у торговца домами или колбасой, это все равно. Мы — народ Книги, это так благородно звучит и даже немного трагично... Липа все это, Вадим, липа! Писатель — он творец, пророк с исключительным правом видеть и говорить правду, по-своему видеть и говорить. Это ему дано от Бога, а другим дано слушать его. А у нас пророчествуют одноклеточные политиканы и богатенькие торговцы. В потребительском обществе литература — это хобби, а нищий пророк-писатель — объект для насмешек... Впрочем, не все писатели — нищие, есть пароч-

ка-другая богатых. Но литература от этого богаче не становится.

— А как же книга, — сказал Вадим Соловьев. — Ведь дают напечатать книгу. Ведь нигде в мире не дают — только здесь.

— Ну, бросили нам чиновники эту кость, — хмуро сказал Рубин. — Нате, мол, грызите, только отвяжитесь! Но ни один из них не понимает, что спор чиновника с писателем неизбежно кончается победой писателя, даже если чиновник выгоняет его из кабинета.

— Bravo, Сема! — подняв кружку, сказал Славка Кулеш. — Еще немного, и ты бросишь писать письма и начнешь писать книжки.

— Знаешь, Слава, я тебе завидую, — глядя сердито, почти зло, сказал Рубин. — Тебе на все наплевать: Союз, письма, общественные дела. Ты своих сколько-то там страниц сделал в день — а потом хоть трава не расти.

— Ну да, — сказал Славка Кулеш. — Конечно. Так и должно быть.

И Вадим Соловьев подумал: "Да, так и должно быть".

А раз так, следовало немедля засесть за книжку, за эти двести пятьдесят страниц, обещанных Славкой Кулешом. "Мощи", "Мост", "Остановки Бульварного кольца" да тройка свежих рассказов — вот и все эти страницы. Вот, собственно, и все, за что его вышвырнули из России, ради чего он оттуда уехал: жгучая кислота правды, русской правды. Европа не желает ее; боясь прожечь пиджак, она уклоняется от встречи с ней. Америке вообще на нее наплевать, у великой Америки свои проблемы, и за чужой щекой

зуб не болит. Ну, что ж! Книга правды выйдет в Израиле и найдет дорогу и в Европу, и в Америку, и обратно в Россию. Главное, книга выйдет! Ради одного этого стоило уехать из России. Впрочем, только ради этого одного, потому что ни второго, ни третьего вообще не существует для Вадима Соловьева: ни богатство не привлекает его в ассортименте Свободы, ни возможность беспрепятственно проголосовать неизвестно за кого в день выборов... А книжка, эта книжка в двести пятьдесят страниц свяжет его, Вадима Соловьева, с еврейской страной, где, кстати, поселился и симпатичный Славка Кулеш, который тоже больше похож на казанского татарина, чем на подольского еврея. Странно, странно! Эта книжка свяжет его с Израилем если не любовью, то благодарностью, а любовь, может, придет позже... Хорошо бы она пришла — ведь здесь каждый пятый говорит по-русски, и русские книжки выходят, и еще потому, что все равно в Россию возврата нет, нет возврата сейчас и потом не будет, это все сны парижских мальчиков из русского Замка. Славка Кулеш едва ли хочет вернуться в Россию — ни на коне не хочет, ни на броневике. Не все ли равно, в конце концов, кем здесь записан писатель в каких-то пыльных чиновничьих реестрах — русским или евреем! Главное, что здесь пишут по-русски, печатаются по-русски. А Конуру для життя можно будет соорудить в каком-нибудь подвале, и худо-бедно заработать литературой на кило картошки и цыбик цейлонского чаю. И снова станет Вадим Соловьев счастливым Псом, прозаиком, и будет писать по утрам сколько там своих страничек, а к вечеру потянутся к нему в Конуру ребята без приглашения, и появится в подвале какая-нибудь но-



вая Наташка или Сарка, вот это уже не имеет никакого значения, как ее будут звать.

Книгу надобно собрать, перечитать, перепечатать. На это уйдет месяц. Хорошо, что есть Кфар-Ям с его ежедневной бесплатной курицей. Спасибо.

Славка Кулеш приехал в Кфар-Ям недели через две после встречи в пивной.

— Ну, поехали, — сказал Славка, вваливаясь в Вадимову комнату. Он был так же расхристан — рубашка расстегнута почти до пупа, на шее болтается на цепочке какая-то черная гайка, кожаная кепка надвинута на лоб. — Поехали, а то мхом тут совсем обрстешь.

— Куда? — спросил Вадим, с готовностью подымаясь из-за стола.

— Да на свадьбу, — кружа по комнате, объяснил Славка Кулеш. — Поэт наш один женится, Рудик его зовут, сугубо религиозный парень: свинину по субботам не жрет. Там всех наших увидишь, кто перышком по бумаге водит.

— Галстук надо? — спросил Вадим Соловьев, с сомнением поглядывая на Славкину черную гайку. — У меня нету...

— Что такое! — бурно возмутился Славка Кулеш. — Женятся нагишом, без галстука. У нас тут галстук только на похороны надевают, и то зимой.

— А подарок? — спросил Вадим.

— Подарок... — обегая комнату взглядом, призадумался Славка. — Вон, пачку бумаги подари ему. Большая, приятно тяжелая. Может, ему пригодится. Все волокут поэту деньги на счастье, а прозаик Соловьев — бумагу. Это здорово!

Держа пачку бумаги подмышкой, Вадим спустился по лестнице следом за бегущим через две ступень-

ки Славкой Кулешом. Во дворе, у мраморной заставки, стояла Славкина машина — красная спортивная "Альфа-Ромео" без крыши, с одной дверью. Вторая дверь была выломана.

— Дверь украл гад какой-то, — сказал Славка, садясь за руль. — Смотри, не вывались. Пристегнись вот ремнем.

Ехали быстро, по сторонам узкой дороги мелькали поселки попеременно с апельсиновыми рощами. Косясь на приборную доску, Вадим с беспокойством отмечал, что стрелка указателя скорости то и дело перепрыгивает за 100.

— Мы в Бней-Брак едем, — сказал Славка Кулеш, когда они выскочили на широкую окружную дорогу. — Знаешь, что это? Там одни религиозные живут, просто жуткое дело. Я сам там толком не был никогда — так, проездом. Туда по субботам только на танке можно ехать: камни кидают в машины.

— В тюрьму их за это не сажают? — спросил Вадим.

— Они сами кого хочешь засадят, — сказал Славка Кулеш. — Это — Израиль! Здесь у нас чудеса на каждом шагу. Кто к этому не привыкнет, тот здесь жить не сможет... Знаешь, когда тут спрашивают: "Почему?" — отвечают чаще всего: "Да нипочему!" И все.

— Ну, они ведь камни у себя в квартале кидают, — возразил Вадим Соловьев. — Кто не хочет — пускай туда не едет в субботу.

— Кидать камни — это хамство, — поморщился Славка Кулеш. — Кидать камни по субботам — это религиозное хамство. Какая разница между хамом Ивановым и хамом Абрамовичем? Никакой. Хамство ведет к тотальному насилию, насилие — к фашизму.

— Ты думаешь, в Израиле возможен фашизм? — с сомнением в голосе спросил Вадим Соловьев.

— Везде возможен фашизм, — пожал плечами Славка. — Что, евреи из особого мяса, что ли, сделаны? То же мясо, те же кости, то же дерьмо, что и у других. Все дело в пропорции... Я, знаешь, боюсь хамства. Хамство признает в искусстве только одно: народные пляски. Ну, еще чечетку.

— Я в России был как-то далек от еврейства... — пробормотал Вадим Соловьев. — Мне всегда казалось, что какой-нибудь Ванюха по самой природе немного хамоват, а евреи к хамству как бы и непригодны.

— Мне тоже так казалось, — сказал Славка, слушавший внимательно. — Но ошибаться евреи могут, как ты думаешь? Ну, вот, я и ошибся. А что мы в Москве вообще знали о евреях? Что все евреи хотят поступить в институт, что это в национальном характере народа. А здесь мы очутились посреди народа, как посреди озера, и берегов не видно; неизвестно, куда плыть.

— Ну, понятно, — согласился Вадим. — Один из Москвы приехал, другой из Южной Африки, а третий откуда-нибудь из Марокко или из Ливии.

— Вот-вот! — поддержал Славка Кулеш. — Один, как трактор, прет в университет зубрить математику, а другой считает, что самое главное — это научиться играть в шеш-беш... Сейчас приедем в Бней-Брак — увидишь совсем особых евреев, ты их в России тоже не видал.

Свадебный зал отыскивали скоро: спрошенные прохожие, одетые в длинные черные кафтаны, объясняли дорогу обстоятельно и многословно, сочно описывая подорожные приметы и размахивая руками

при уточнении направления пути, его поворотов и извивов. Закончив разъяснения, спрошенные делали несколько шагов вслед отъехавшей машине и кричали поздравления в адрес жениха Рудика и его уважаемого отца Мойше Каценеленбогена, торговца битой птицей.

— Все-таки приятно, — сказал Вадим Соловьев, выслушав от бегущего за машиной еврея очередное поздравление. — Незнакомые люди, а вон как поздравляют.

— Рудиков папаша Каценеленбоген из семьи знаменитых раввинов, — объяснил Славка Кулеш, — вот они и поздравляют. Но ты прав, это трогательно.

— Я сейчас подумал, — сказал Вадим Соловьев, — в России у нас никто бы не стал вот так поздравлять: хоть раввин, хоть председатель горсовета. Ну, сморозили бы на худой конец какую-нибудь хреновину... А у этих лица — светлые.

— Так они и радуются! — рассудил Славка Кулеш. — Еврей женится, детки рождаются, в хедер пойдут, потом в ешиву. А потом камень засадят тебе в лобовое стекло.

— Ну, может, и не засадят, — предположил Вадим Соловьев. — Ты здесь сколько лет?

— Шесть, — сказал Славка Кулеш. — Я первый год, как приехал, тоже думал, что не засадят. Это как жара: сначала ее, вроде, не замечаешь, а через годика два-три начинаешь с ума от нее сходить. И чем дальше, тем сильнее.

— Да, жара, — кивнул головой Вадим. — Что есть, то есть. Но куда ж от нее денешься?

— Куда денешься? — переспросил Славка и колко взглянул на Вадима Соловьева. — Вот в том-то оно и дело! У готтентота какого-нибудь жара тоже в пе-

ченках сидит, а он из своего Калахари в Канаду, в холодок, не едет: привык. А нас отсюда и в Канаду, и в Гренландию, и куда хочешь џесет: не привыкли. К жаре не привыкли, к армии не привыкли, к черным нашим не привыкли. К русским, видишь ли, смогли привыкнуть, а к марокканцам — ну, никак! Да что там марокканцы! К еврейской власти не можем привыкнуть. Министры наши, правда — дурье, так ведь и в России были бандиты почище наших. Да там нам какое дело было до всех этих Кузькиных-Укропкиных! Ну, сидит где-то там министр — и пускай себе сидит, нам-то что, нам с ним по одной улице не ходить. А здесь вся власть — Рабиновичи, все свои, и нам до них еще какое дело: они дурят, а у нас давление повышается. И еще жара, и армия, и инфляция. Вот еврей и едет в Канаду, смотрит вечером последние известия по телевизору и на стену не лезет от злости: дурит там какой-нибудь Джонсон-Томпсон — ну и пусть, нам-то что. Это ведь их дела, не наши. А наших мы уже наглотались по самую завязку, до смерти не переварить... Вот в том-то и беда, Вадим: мы привыкли жить среди чужих, и привыкли быть чужими. К нам сюда или идеалисты едут, или неудачники. Или вот еще такие, что бульжники к субботе запасают — за границей-то не покидаешь, а в своем отечестве все можно.

— А Каценеленбоген? — спросил Вадим Соловьев.

— Папаша Каценеленбоген может засветить, — подумав, сказал Славка. — Бульжник он, пожалуй, не метнет, хотя силы у него на это хватит: не еврей, а катапульты. Он кинет камушек поменьше, чтоб голову никому не продырявить. Но — кинет.

Папаша Каценеленбоген, большой красивый еврей средних лет, встречал гостей на пороге свадебного

зала. Сильные плечи папаши гладко обтягивал черный кафтан муарового шелка, на высокой голове сидела круглая плоская шапка, отороченная лисьим мехом. Мужчин он обнимал за плечи жесткими, как канаты, руками, женщинам, не сгибая прямой спины, с достоинством кивал головой. Рудик в черном костюме, стоя позади отца, выглядел куда менее торжественно. Невесты не было видно — ее держали до поры в особой комнате, с подружками.

— Вот так, — со сдержанной гордостью сказал Славка Кулеш, вводя в зал Вадима Соловьева. — Видал, какие евреи еще сохранились? Так и тянет сказать: "Отец женит сына", а не какое-то там плоское "Рудик женится".

От гула голосов сводчатый зал, разделенный раздвижной стенкой на две равные половины, казался не таким высоким, каким был на самом деле. С изумлением, почти не веря своим глазам, Вадим Соловьев обнаружил на своей половине только мужчин — старых и молодых, в черных кафтанах и белых летних рубашках, в ермолках, шляпах и кепках. Женщин здесь не было вовсе, как будто не им кивал папаша Каценеленбоген у входа в зал.

— А там — что? — повернувшись к Славке Кулешу, тихонько спросил Вадим и кивком головы указал на стенку.

— Женщины, — усмехнулся Славка незнанию Вадима Соловьева. — Тут так положено: мужчины отдельно, женщины отдельно. Интересно?

— Н-да... — сказал Вадим Соловьев.

Славка усадил его за круглый, на шесть человек, стол и попросил подержать места, а сам ушел искать знакомых.

— Здесь через пятнадцать минут негде будет даже

стоять, — сказал Славка. — Я пойду наших приведу... Ты смотри, весь Бней-Брак сбежался!

Народ прибывал, пройдя через канатные руки папши Каценеленбогена. Люди, толпясь и кружа по залу, то и дело подходили к столу, и Вадим показывал жестами: нет, нельзя, занято! Вадиму было неловко, что он в такой толчее держит целый стол. Не подымаясь, он тоскливо искал глазами Славку Кулеша.

Старик в жеваной кепке сел, не спросясь, прямо против Вадима Соловьева. Усевшись, он поглядел на Вадима как на знакомого человека и сказал ему на идиш что-то фамильярно-веселое.

— Извините, но я не понимаю, — пробормотал Вадим, не зная, как согнать с места наглого старика.

Тогда старик, не удивившись ничуть, перешел на русский.

— Что вы беспокоитесь, молодой человек, — сказал старик. — Это я должен беспокоиться, что вы меня не понимаете. А я не беспокоюсь.

И, как бы в подтверждение своего спокойствия, старик вытащил из кармана грязного и драного во многих местах пиджака пару розовых сведенных челюстей с ровными белыми зубами и показал их Вадиму Соловьеву.

Вадим потерянно поглядел на протезы, потом на рот старика. Старик с готовностью оттянул пальцами нижнюю губу — его зубы были на месте.

— Вы зубной врач? — с сомнением спросил Вадим, глядя, как старик прячет челюсти обратно в карман.

— Нет, что вы, — сказал старик, вытирая пальцы о штаны, а потом о скатерть. — Я свадебный нищий, это моя профессия. Вы кушайте курицу, я вам советую. Сейчас евреи побегут нести жениха, а мы с вами будем кушать курицу.

Евреи, действительно, повскакали со своих мест и, толкаясь, побежали на лужайку перед залом, и старик удовлетворенно вздохнул. Вадиму не хотелось никуда бежать, ему хотелось посидеть с этим стариком.

На лужайке тем временем началось организованное движение; Вадим видел, как жениха подняли вместе со стулом довольно высоко и бегом, с песнями носили его по траве. Вцепившись в стул, чтобы не упасть, Рудик улыбался смущенно.

Старика происходящее на лужайке нисколько не занимало. Выпростав над столом руки из тесных и коротких рукавов своего пиджачка, он как бы благословлял еду, бормоча себе что-то под нос. Озабоченно переводил он взгляд с блюда с кусками холодной курятины на мощный брус студня, украшенный желтыми яичными пятнышками, на фаршированную рыбу в зыбком желе, на ломтики обжаренных в масле баклажанов. Сделав, наконец, свой выбор, он выхватил из блюда две куриные ноги и одну из них повелительным жестом протянул Вадиму Соловьеву. Уже жуя, он налил себе и Вадиму водки в стаканы для воды и, молча чокнувшись, выпил залпом.

— Я свадебный нищий, — сказал старик, бросая кости под стол и вытирая рот краем скатерти. — Меня знает весь Бней-Брак, нет еврея, который бы меня не знал. И вот я вам говорю: кушайте курицу!

Мельком взглянув на возвращающихся с лужайки гостей, он вдруг снял свою кепку и как бы невзначай накрыл ею блюдо с курятиной. Нащупав сквозь ткань кусок или два, он сгреб кепку в кулак и поднял ее вместе с кусками.

— Бери, бери, — сказал старик, незаметно суя куски в карман, где лежали челюсти. — Это — свадьба, чтобы



всем нам было хорошо Рыбу кушай здесь, а курицу бери с собой. Я тоже когда-то жил в Сибири.

— А зачем они носили жениха? — спросил Вадим Соловьев, чувствуя себя свободней после выпитой водки.

— Так полагается, — сказал старик. — Ты студент? Кушай студень.

Деловито проглотив ломоть студня, старик взглянул на часы и поднялся на ноги.

— Я иду, — сказал старик. — У меня сегодня еще одна свадьба, тут, рядом. Пойдешь со мной?

— Я тут с товарищем.. — сказал Вадим Соловьев.

— Евреи любят жениться, чтоб они были здоровы, — вздохнул старик и развел руками, и полы его пиджачка широко разошлись. За брючный ремешок старика был засунут маленький, дамский, что ли, наган с никелированным стволиком. На фоне несвежей сорочки рукоять нагана, выложенная перламутром, красиво светилась зеленым, черным и розовым.

Вадим Соловьев, оцепенев, глядел на роскошное оружие свадебного нищего.

— Ну, я иду, — повторил старик. — Ты знаешь, что будет завтра? Так бери курицу домой, вот тебе газетка и заверни.

Заложив руки за спину и выставив вперед острое плечо, старик ввинтился в толпу возвращающихся с лужайки евреев и исчез в ней. И Вадим с сожалением подумал о том, что не успел ничего спросить у этого старика и даже не запомнил толком, как он выглядел. У него, как будто, были яркие голубые глаза под подвижными бровками. Или карие? Один глаз, вроде бы, немного косил. Или вот: что выяснилось, когда он снял свою кепку? Был он плешив или лохмат?

— Странная страна.. — пробормотал Вадим, уставясь

в почти пустое блюдо на середине стола. — Странная страна...

Славка Кулеш, подойдя с Семей Рубиным, прислушался к этому бормотанию Вадима Соловьева.

— Что? — спросил Славка.

— Да нет, ничего, — сказал Вадим. — Я тут с одним интересным старичком познакомился. Свадебный нищий. Профессионал.

— Не может быть, — сказал Сема Рубин. — Здесь нищих на свадьбу не зовут, это не принято.

— Да он мне сам сказал! — чуть не с обидой возразил Вадим. — Низенький такой или, вернее, среднего роста.

— Едва ли, едва ли... — проговорил Сема Рубин, глядя на наполовину опорожненную бутылку водки. — Что он тебе еще сказал?

— Зубы показывал, — сказал Вадим Соловьев, сознавая, что говорит не то, что хотел бы сказать о старике. — Челюсти.

— Челюсти, говоришь? — переспросил Славка Кулеш. — Какие челюсти?

— Вон Рудик идет фотографироваться, сейчас мы у него спросим, — сказал Сема Рубин.

Рудик шел от стола к столу с фотографом — снимался на память с гостями, для альбома.

— Рудик! — позвал Сема. — Вот Вадим говорит, что видел тут какого-то нищего. Вы разве нищего звали? Есть такая традиция?

— Нет, — сказал Рудик, зорко оглядываясь вокруг. — А где он?

— Он уже ушел, — сказал Вадим Соловьев. — На другую свадьбу пошел.

— Так ведь еще горячего не подавали, — с сомнением в голосе сказал Рудик. — Как он хоть выглядел?

— Да так... — сказал Вадим Соловьев, мучительно припоминая, как выглядел старик. — В кепке...

— У нас тут есть один нищий, но он, во-первых, всегда в шляпе ходит, а во-вторых, он тоже не приходил, — сказал Рудик. — Так что не может этого быть.

— Ну, не может, и не может, — сказал Славка Кулеш. — Все мы, в конце концов, нищие. Давайте лучше выпьем.

— Черт знает, что такое, — сказал Вадим Соловьев. — Вот здесь он сидел, ел курицу.

— Ну, может, тебе показалось, — примирительно сказал Сема Рубин. — За тебя, Рудик!

Свадьба, к его собственному удивлению, понравилась Вадиму Соловьеву. Было в ней что-то обязательное, вязкое, цепко и крепко хватающее и держащее — как сама история еврейского народа, с которой Вадим познакомился недавно по скучной книжке какого-то профессора. Слушая не совсем веселую свадебную музыку, глядя, как евреи, выпив водки, плясали с поднятыми руками — Вадим Соловьев с тревожным удовольствием ощущал себя почти евреем.

По дороге в Кфар-Ям, подпрыгивая рядом со Славкой Кулешом на неудобном спортивном сиденье, Вадим Соловьев думал над тем, кем бы он хотел быть: папашей Каценеленбогеном или свадебным нищим. Он думал, задремывал, просыпался от очередного толчка и снова представлял себя то на месте старика, то на месте папаши, и никак не мог выбрать. Но Рудиком на свадьбе он быть не хотел.

— Приехали! — сказал Славка Кулеш, подруливая к мраморной завалинке. — Я, знаешь, сам чуть не заснул: чуток, все же, перебрали. Будь у меня рессоры получше, обязательно заснул бы.

Завтра голова будет свинцовая, — мрачно предрек Вадим.

— С утра перышком не поводишь, это верно, — согласился Славка. — Ты, кстати, книжку собрал?

— Через неделю закончу, — сказал Вадим Соловьев.

— Ну, я к тебе деньков через десять загляну, — сказал Славка Кулеш. — Будь!

Книжку зарезали.

Надеящийся на то, что произошло недоразумение, и все же уверенный в обратном, Вадим Соловьев поехал в Тель-Авив, по адресу, указанному в отказном письме. На двухэтажном особнячке, на зеленой улочке Пророка Иеримиягу, значилось: "Комиссия по литературе".

Вадима приняла толстая тетка в просторном арабском платье, с тяжелыми серьгами в длинных и пухлых мочках ушей, со множеством золотых цепей и цепочек вокруг короткой сильной шеи.

— Так это вы Соловьев Вадим из Кфар-Яма, — с трудом находя русские слова, сказала тетка. — Ну?

— Вот тут написано, — расправляя письмо, сказал Вадим, — что мне отказано в издании книги. Но ведь Союз писателей рекомендовал и, потом, мне сказали в Нью-Йорке...

— Ждите, — сказала тетка и, повернувшись вместе со стулом на колесиках к железному шкафу, принялась рыться в груде папок, положенных одна на другую. — Вот, "Соловьев Вадим". Ну?

— Вот я и говорю, — леденя от этого "ну?", сказал Вадим. — Может, это просто ошибка. Ведь Союз...

— Решаем мы, а не ваш Союз писателей, — ровным голосом объяснила тетка. — Вам отказано в безвозвратной ссуде.

Она постукала по папке короткими круглыми пальцами.

— Но почему? Ведь должна быть какая-то причина...

Вадиму не хотелось говорить с этой теткой о своей прозе.

— Ждите... — недовольно сказала тетка и, надев очки, взялась листать и читать какие-то бумажки из папки.

Вадим ждал. После уличной жары ему было зябко в холодном ветре кондиционера. Надо было взять с собой Славку Кулеша, он бы обрезал этой гнусной тетке ее "ну".

— В вашей рукописи нет еврейской темы, — сняв очки, сказала тетка. — Нам это не интересно. В России вы писали про русских. Теперь вы приехали в еврейскую страну, и нас тут интересуется еврейская тема.

Она взглянула на Вадима Соловьева — все ли ему понятно.

Вадим глядел на свою рукопись, молчал, обдумывая услышанное.

— Ну, кого это здесь может интересовать! — тетка брякнула по титульному листу рукописи пухлой ладошкой. — Вот рецензент пишет, что у вас тут даже ни одного еврейского имени нет.

Да, правда, нет еврейских имен. Значит, нет никакой ошибки. Книга не выйдет.

— Да, правда, — потирая пальцами переносицу, медленно сказал Вадим Соловьев. — Это не про евреев, это просто про людей... А какая, собственно, разница?

— Что? — брезгливо поморщившись, спросила тетка. — Какая еще разница?

— Да, какая? — повторил Вадим Соловьев. — Не все ли равно, о ком пишет писатель — о евреях, о русских?

От этого вещь ни хуже не станет, ни лучше. А если б я о евреях написал, вы меня напечатали бы?

— Да, — сказала тетка. — Я же вам объяснила.

— А если б о марсианах? — спросил Вадим Соловьев.

— Слушайте, до свидания, — сказала тетка, отъезжая от стола на своем стуле.

— Но это же бред, глупость! — сказал Вадим Соловьев. — У вас же тут на доме написано "Комиссия по литературе". Евреи, русские — какое это имеет отношение к литературе! Я ведь не только для евреев пишу, каждый может взять книгу и прочитать. Ведь это какой-то литературный расизм, ужас!

— Ну-ну! — сказала тетка и погрозила Вадиму пальцем. — Вы можете сами напечатать вашу книжку, на ваши собственные деньги. Это нас не касается. Но давать вам деньги или не давать — это наше дело. Напишите другую книжку, и если там будет что-нибудь про евреев, мы, может быть, напечатаем... У вас есть профессия?

— Я писатель, — злобно прищурившись, Вадим взглянул на тетку, а потом потянул к себе папку с рукописью.

— Это не профессия, — пожала широкими плечами тетка. — Я, например, двадцать лет была педикюршей — и это профессия. Теперь я государственная служащая. Это тоже профессия.

— Да, я вижу, — подымаясь, сказал Вадим Соловьев.

— До свидания, — сказала тетка. — Напишите что-нибудь еще — приходите, мы читаем.

С папкой подмышкой Вадим Соловьев плелся по улице Пророка Иеримиягу. Жара улицы как бы уже и не была жарой солнца и природы — как будто ули-

цу с ее желтыми домами и пыльными деревьями поместили в духовку электрической печи и зажгли там лампочку. Вадим плелся, не выбирая направления. Без интереса глядя на дома, вывески лавок и редких встречных людей, он обрывочно, перетасованно вспоминал Рим и Париж, Нью-Йорк и Вену, и в самом конце уходящей вдаль и сужающейся картины, в неясном тупичке, брезжили две милые, кажущиеся отсюда, из этой адской духовки, родными фигуры: Мыша и Захар. Хотелось, выйдя из пекла, позвонить в дверь их квартиры, пройти в кухню, сесть за квадратный стол под клетчатой скатеркой. Еще хотелось спуститься по сладковонючей лестнице в расстрельный подвал Конуры, и чтоб там никого не было — ни Тани, ни Наташи — и вытянуться на пролежанной, в буграх, тахте. Впрочем, нет: хорошо бы спуститься в Конуру и обнаружить там Мышу. И Захара. Мыша молча сидит на табуретке и смотрит на вытянувшегося на тахте Вадима, и между ними, чуть в стороне, стол, и на нем пишущая машинка, прикрытая Лиром махровым полотенцем — от пыли. Хорошо бы...

Хорошо бы уехать куда-нибудь, ну, хотя бы в Иерусалим, от этой раскаленной улицы, от омерзительной тетки. Другой город — другой мир, новый, с нехоженными улицами, со скамейками, на которых можно сидеть или спать. Одни говорят, что Иерусалим — зеленый город, другие — что Божий. А Тель-Авив — Город Зарезанной Книги. Здесь все кончено, в Тель-Авиве; пора двигать отсюда. Не все ли равно, куда? Все говорят, что в Иерусалиме не так жарко.

Можно, конечно, найти Славку Кулеша, рассказать ему. Можно — но не сейчас. Потом когда-нибудь. Завтра. Или через неделю. Но что прозаик Соловьев может рассказать прозаику Кулешу о разговоре с теткой?

Ведь это ни один нормальный человек не поймет, это невозможно понять. Правда, у Славки в "Болоте" есть что-то про евреев... Получается, что весь мир застроен клетками, и в одной клетке сидят евреи, в другой — русские, в третьей — американцы или татары. И каждому писателю отведена одна-единственная клетка, и нельзя писать о другой. Так, навесив замки на клетки, решила Тетка, и Славка Кулеш ничего с этим не сможет поделать.

Невыбранное направление — тоже выбор: ты выбрал идти без цели, куда глаза глядят. Очутившись в зловонных переулках вокруг Центральной автобусной станции, Вадим Соловьев жалостливо себя похвалил: "Молодец, Вадик, твои ноги привели тебя, куда надо; и теперь мы едем в Иерусалим".

Дорога на Иерусалим шла вначале равниной. Из окна автобуса видны были аккуратные домики поселков и ферм, в брызгах дождевальных установок семицветно светились радуги. Ничто не говорило Вадиму Соловьеву о том, что в этих домах живут, по этим полям, под радугами, ползают евреи, а не какие-нибудь другие люди, на паспортах которых напечатан золотом не семисвечник, а австралийский кенгуру или американский орел. И если написать о жизни поля и его плодов и о том вон трактористе, который, может, только что раздавил колесом своего трактора птичье гнездо и ему вдруг вспомнился с болью его маленький сын, выбежавший в позапрошлом году вот на эту самую дорогу и раздавленный грузовиком, — так ведь это может получиться совсем и не еврейский рассказ, даже если он будет написан справа налево, красивыми еврейскими буквами.

Минут через сорок дорога пошла в гору, поля сменились садами и дикими зарослями по склонам хол-



мов. Каменные древние террасы линовали эти холмы, и приходилось думать о давным-давно, тысячу или две тысячи лет тому назад умерших людях, ходивших по этим плодородным язычкам земли с лопатами и тяпками. И трудно, невозможно было соединить родством бабушку, убитую немцами в Бабьем яру, под Киевом, и этих загоревших дочерна земледельцев в белых, наверно, балахонах.

Иерусалим начался не с пригородов — просто шоссе вошло в город и стало улицей. Как будто отворили дверь из пустой нежилой комнаты в обжитую, живую, оклеенную желтыми обоями, с голубым потолком. Люди с деловым видом шли по Иерусалиму, и Вадим Соловьев, выйдя из автобуса, пошел вместе с ними.

Он шел долго, и ходьба не надоедала ему, потому что он сам не знал, куда идет; цель, таким образом, не приближалась, ибо ее не было вовсе, и Вадим Соловьев не мог с чувством воскликнуть про себя: "Ах, черт, как еще далеко!" или "Вот уже всего две улицы осталось, три перекрестка!". Ни к чему намеченному не направляясь, но и не вознамерившись прогуливаться просто так, для собственного удовольствия, Вадим Соловьев как бы шагал на месте, поочередно подымая и опуская ноги. Какие-никакие переживания, связанные у прохожих с приближением или удалением от чего бы то ни было и сколько-нибудь волнительные для них, были совершенно чужды Вадиму; результатом его движения могла быть только усталость, и тогда следовало бы присесть на лавочку, если бы она случилась по пути. Шагая мимо домов, деревьев и кустов палисадников и скверов, Вадим Соловьев размышлял: "Вот Божий город, куда меня затащила чертова судьба. Не окажись я евреем по материнской линии, едва ли я бы сюда и попал. А ведь сколько

людей мечтают поглядеть на Стену плача, на знаменитую мечеть и на улицу, по которой Христа гнали на казнь. Если бы сегодня не зарезали мою книгу, я, наверно, первым делом пошел бы туда, где все это расположено и, наверно, благодарил бы Бога за то, что вот, книжка моя выйдет. Но книжка зарезана, и я не хочу жаловаться Богу, потому что это бессмысленно — как, впрочем, и благодарить Его. Книжка, значит, мне дороже всех Стен, мечетей и улиц, вместе взятых, она — впереди всего, на первом месте. Куда было бы лучше. если бы люди писали и читали книжки, вместо того, чтобы убивать друг друга во имя Стены, мечети и улицы. Но люди убивали и убивают, и при этом они еще твердят, что это угодно Богу. Так почему же тогда не восстановить человеческие жертвоприношения и вот на этом, скажем, газоне каждое первое число каждого месяца вспаривать кому-нибудь брюхо каменным ножом или делать укол цианистого калия? Двенадцать человек в год. Столько, сколько гибнет здесь каждую неделю в автомобильных катастрофах... Зеленый газон, играет струнный оркестр возле каменного лобного места, ангельскими голосами поет хор детей, поэты читают свои стихи народу и жертве, сидящей на возвышении на складном парусиновом стульчике”.

Представленное было настолько зримым, что Вадиму Соловьеву захотелось опуститься на этот самый стульчик, послушать поэтов и детей, а потом подставить руку под шприц с цианистым калием. Он огляделся; лавочек нигде не было, а газон остался позади и не хотелось туда возвращаться. Зато в нескольких метрах от остановившегося Вадима золотисто светился вход в маленькую синагогу. Синагога простотой формы напоминала сарай и, судя по кладке камней,

была древней постройки. Хорошо бы немного отдохнуть в уголке, в этом толстостенном доме, открытом для каждого, желающего туда войти. И Вадим Соловьев решил, шагнул и вошел.

По обе стороны от входа тянулась узкая каменная скамья; Вадим сел на нее. После пронзительного света улицы непросто было разглядеть убранство комнаты и картины позади высокого деревянного шкафа, да Вадим и не успел: к нему, мягко ступая, подошел неряшливо и бедно, но чисто одетый старик, протянул ему черную бумажную чеплашку и опустился рядом с ним на скамью. Надев чеплашку, Вадим обернулся к старику, но тот, как видно, не желал начинать разговор и не этого ради подсел к Вадиму. Щурясь и напрягая зрение, Вадим Соловьев различил в глубине комнаты, у противоположной стены, длинный, грубо и крепко сколоченный стол, за которым сидело человек восемь или десять, средних лет и пожилые, но не вовсе ветхие старики. Во главе стола, чуть выше других, сидел мужчина лет шестидесяти пяти, не более, в дешевом сером пиджачке, в белой, низко расстегнутой на груди рубашке и мятой, давно потерявшей форму то ли темно-серой, то ли выгоревшей черной шляпе, с темным круглым следом от ленты вокруг тульи. Этот человек, плавно взмахивая руками, читал что-то по истрепанной толстой книге и, судя по интонации, задавал вопросы своим слушателям. Он не был похож ни на раввина, этот человек, ни на ученого.

— Кто это? — повернувшись к молчаливому старику на скамье, спросил Вадим Соловьев и движением головы указал на сидевшего во главе стола. И почти не удивился, услышав в ответ по-русски:

— А разве ты не знаешь? Это синагога великого

каббалиста рабби Абоаба, а это сам рабби учит своих учеников. Сюда приходят учиться люди со всего света. Вон тот, рядом с рабби, в сатиновых штанах — это курд, он недавно перешел в еврейство.

— Но ведь все раввины ходят в лапсердаках, — поделился со стариком Вадим Соловьев. — А этот...

— Рабби Абоаб не сидит с раввинами за одним столом, — перебил Вадима старик. — Раввины обходят синагогу рабби Абоаба стороной. Сюда идут те, кто хотят учиться мудрости, а не букве.

— А вы — тоже ученик? — спросил Вадим Соловьев.

— Нет, — сказал старик. — Но я хочу им стать.

На фанерной тумбочке закипел электрический чайник, и старик достал из ящика поднос, стаканы и кулечек с коржиками, посыпанными сахарным песком. Споро заварив чай, старик разлил его по стаканам и, держа поднос на вытянутых руках, пошел к столу. Не прерывая учения и разговора, рабби и его ученики разобрали стаканы с подноса, и каждому пришлось по сахарному коржику.

— Он тебя зовет, — сказал старик, вернувшись с пустым подносом. — Пошли.

— Меня? — удивился Вадим Соловьев, а ноги сами подняли его со скамьи.

Они подошли к столу, и Вадим увидел лицо рабби Абоаба. Серо-седые, спутанные, не знающие гребня волосы выбивались из-под сдвинутого на затылок колпака шляпы и закрывали верх высокого прямого лба. Густо-синие глаза рабби глядели не грустно и не скорбно, как у еврея, отягощенного многими знаниями, а радостно и чуть смешливо. В своем рваном пиджачке и ветхой чистой рубашке он был похож на пророка или на свободного художника.

Отложив книгу, рабби сказал что-то раскатистой

скороговоркой и поманил Вадима Соловьева подойти поближе.

— Он хочет благословить тебя, — перевел старик.

— Но я не верю в Бога... — виновато сказал Вадим.

Удовлетворенно покачивая головой, рабби выслушал перевод старика.

— Но зато я верю в Бога, — сказал рабби. — Этого вполне достаточно: ведь я хочу тебя благословить, а не ты меня. Дай же мне сделать богоугодное дело.

Вадим подошел, и рабби Абоаб легко опустил руки на его голову.

— Бог не ищет человека, — сказал рабби Абоаб. — Человек ищет Бога. Ты не нужен Богу. Бог нужен тебе, мальчик. Ты попал в беду сегодня, и все, во что ты хотел верить, разрушилось. Но для того, чтобы восстановить в душе разрушенное, не нужно ни камней, ни денег. Завтра ты поймешь это, и твоя дорога к самому себе и будет дорогой к Богу... Теперь иди, и прежде, чем спросить "почему?" подумай, нужен ли тебе ответ и не лучше ли совсем обойтись без ответа.

Вечером этого дня Вадим Соловьев позвонил Славке Кулешу.

— Слушай, — сказал Вадим, — я в Иерусалиме. Почему? Да какая разница! Слушай, со мной что-то случилось невозможное. Я видел пророка, настоящего пророка.

— Ну, потом расскажешь, — сказал Славка Кулеш. — Тут, знаешь, тебе на Союз письмо пришло, из Вены.

— Это от моих друзей, — сказал Вадим. — Я тебе о них рассказывал... Знаешь что, прочти мне, если тебе не трудно!

— Ладно, — сказал Славка. — Сейчас прочту... "Вадим, месяц тому назад я похоронила Захара..."



## 9. ИЕРУСАЛИМ. ПЕРЕУЛОК ИИСУСА

Сразу после телефонного разговора Вадим Соловьев решил вернуться в синагогу, к рабби Абоабу. Во всем том, что случилось за один сегодняшний день: книга, встреча с рабби, известие о гибели Захара — Вадим усматривал отнюдь не случайное стечение обстоятельств. Он вдруг почувствовал, что мир вокруг него стал иным, чем тот, что был вчера или третьего дня, что жизнь сделалась совершенно неуправляемой и идет себе вне всякой зависимости от его, Вадима Соловьева, планов и желаний. Вадима тащило и несло новое нахлынувшее течение, необъяснимое, и бессмысленна была бы сама попытка его объяснить. Но это должно было кончиться: либо Вадима вынесет на привычный прочный берег, либо душа его не выдержит и он, переполнившись этой необъяснимой и пугающей новью, захлебнется ею, захлебнется и умрет. Он не мог сосредоточиться на одном каком-либо из событий сегодняшнего дня, мысли его расплзались, и он с тревогой сознавал, что у него недостает сил собрать их и разобраться в них. Он почти сходил с ума и отдавал себе в этом отчет.

Рабби Абоаб, по его разумению, мог вывести его из этого состояния.

Но маленькая синагога оказалась запертой на замок.

Он испытывал потребность говорить с кем-нибудь, все равно с кем и все равно о чем — лишь бы не обороняться, в одиночестве, от этих острых, разящих, бесконечных "почему". Он поехал на окраину Иерусалима, в новый район, к поэтессе Нелли Цветковой, с которой познакомился на свадьбе Рудика Каценленбогена и которая дала ему адрес и звала приезжать в гости.

Сорокалетняя Нелли жила в двухкомнатной квартире, одна; муж остался в Новосибирске, сын то ли служил в армии, то ли уехал в Южную Африку. Нелли писала стихи о своей душе, где масличные деревья растут попеременно с русскими березами и служила в гостинице для христианских паломников в Старом городе. И место службы, и березы вызвали осудительное покачивание головами у многих и многих. Однако же такое странное, на первый взгляд, поведение Нелли Цветковой обуславливалось причиной веской: хоть она и числилась еврейкой, евреем был в действительности лишь ее отец, а мать была русской женщиной, рожденной в Тюмени и там же похороненной по христианскому обряду. Отцом Неллиного сына, то ли солдата, то ли южноафриканца, был и вовсе крымский татарин, сосланный в Сибирь в свое время.

Услышав сбивчивый рассказ Вадима Соловьева о встрече с рабби Абоабом, пророком, Нелли пришла в восторг, но не удивилась ничуть.

— Потому что это Иерусалим! — воскликнула Нелли и выбежала из кухни, где она жарила яичницу для

Вадима. — В Тель-Авиве тебе бы никогда так не повезло. В Иерусалиме все может быть, и все бывает. Здесь Бог для всех — один, и это, знаешь, ко многому обязывает в духовном смысле. Я говорю, конечно, о людях думающих.

— На сколько частей поделен мир, — сказал Вадим Соловьев, — какое сумасшествие! Думающие — недумающие, дураки — умные, черные — белые, евреи — христиане... — Он вспомнил Захара, насупился. — А какая, собственно, разница между евреями и христианами? Вот я считаюсь евреем, а один мой друг был христианин. Какая между нами разница? Он думал так же, как рабби Абоаб.

— Никакой разницы, — сказала Нелли. — Иисус ходил под тем же Богом, что и Иуда, и первосвященник, и тот римский солдат, что его прибивал к кресту. Но я люблю Иисуса больше первосвященника, потому что Иисус в один прекрасный день взял и выгнал менял из Храма. Менял, торговцев. Они все жулики и спекулянты, ты пойди у нас тут на базар и увидишь их: то же самое, что две тысячи лет назад, никакой разницы.

— Да, надо пойти, — вяло согласился Вадим. — Но он правильно сделал, что выгнал.

— Торгаш не может не торговать и не обманывать, — продолжала Нелли, — это понятно. Но — в Храме?! Ну, хорошо, если кто-нибудь хочет подарить деньги, дать нищим, бедным — пусть, это где угодно можно, это хорошо. Но торговать — в Храме?! Встать с лотком и торговать... Иисус всех их разогнал, а первосвященнику это в голову не приходило.

— А ты — христианка? — спросил Вадим Соловьев, думая о Мыше.

— Ну, как бы это тебе сказать... — как будто не-



сколько смутилась Нелли. — Я же говорю, что нет, в сущности, никакой разницы между христианами и евреями. Не в том же дело, кто что ест и во что одевается... Я, например, могу перекреститься на икону, хотя знаю, что это чистейшая глупость и условность. А если мужчина отращивает пейсы и надевает кипу — это такая же глупость.

— А я никогда никакой кипы не носил и не крестился, — сказал Вадим Соловьев и с удовольствием подумал о том, что у рабби Абоаба под его грошовым колпаком тоже не было ермолки.

После продолжительных разговоров о преимуществах Иерусалима перед Тель-Авивом и намеков на существование какой-то тайной группы думающих иерусалимцев, к которой Нелли если прямо и не принадлежала, то имела касательство, после яичницы и кофе у Вадима Соловьева отяжелели веки и язык и ему более всего хотелось сейчас лечь на диванчик под книжной полкой, а завтра встать пораньше и ехать к рабби Абоабу.

— Я тебе сейчас постелю, — сказала Нелли. — Хочешь еще кофе? Знаешь, я просто уверена, что эта твоя встреча с рабби — это чудо, самое настоящее чудо. Это не просто так, неспроста. Я вот на той неделе поставила машину на горке и ушла, а тормоза плохо держали и машина покатила, а внизу, ты себе представляешь, была детская площадка. И вот под колесо попала какая-то труба или камень, и машина немного повернулась и врезалась в забор, в трех шагах от площадки. Это, действительно, чудо!.. Знаешь, я хочу написать такой цикл — "Чудеса в Иерусалиме". Здесь на каждом шагу чудеса, просто к ним все уже привыкли.

— Да, чудо, — сказал Вадим Соловьев. — Конечно... —

Он сгорбился над столом, глядел вниз, вглубь. Перед ним обозначился Захар, за столом венского кабачка, за стаканом вина. "Мы живем, и это чудо, — тихонько покачивая вино в стакане, доверчиво сказал Захар. — И не обязательно человека бить палкой, чтоб ему стало больно, и не обязательно дать ему кусок сахара, чтоб ему стало сладко: и сладость и боль внутри нас, и другие всякие вещи, какие ты только хочешь... Вот это и есть — чудо!"

— Да... — повторил Вадим. — Только я бы этот цикл иначе как-нибудь назвал. "Чудеса в Иерусалиме" — это немного похоже на "Чудеса в решете". Чудо — это чудо, а чудеса — это уже почти фокусы.

— Ну нет! — не согласилась Нелли Цветкова. — Моисей творил чудеса, и Иисус... Вот именно — чудеса!

— Творить — это одно, а верить — другое, — сказал Вадим. — Иисус, наверно, верил все-таки в чудо, а не в чудеса.

— У тебя чисто прозаическое мышление, — немного раздраженно сказала Нелли. — Да ты пройди по Старому городу, пройди по Виа Долороза! И попробуй представить себе, что вот сейчас из-за угла выведут Иисуса Христа.

— Да-да, — сказал Вадим Соловьев. — Это хорошая идея. Так я и сделаю.

Вадим поднялся рано, вскоре после рассвета. Сунув в карман кусок подсохшего за ночь хлеба, он тихонько захлопнул за собой дверь и бегом, освобожденно, уже не боясь разбудить Нелли, спустился по лестнице. Новые дома, построенные гигантскими кустами и облицованные бело-розовым камнем, были похожи на оледенелый сад; так бывает, когда после первой от-

тепели вдруг ударит короткий и жестокий ночной мороз, и на рассвете деревья и кусты стоят облитые розовым ледяным стеклом, хрупкие.

Автобус привез Вадима Соловьева в центр, уже проснувшийся, взмутненный деловым движением. Это движение, отделявшее Вадима от рабби Абоаба, раздражало его и злило. Он вдруг вспомнил Иисуса, разогнавшего торговцев, и ему захотелось разогнать суетливых людей, бегущих в свои конторы и лавки мимо улочки, в глубине которой помещалась маленькая синагога рабби.

Чем ближе он к ней подходил, тем ему становилось легче и покойней. Вот сейчас он увидит рабби, и рабби поманит его, как вчера, и скажет то, что ему, Вадиму Соловьеву, необходимо услышать. А русский старик будет заваривать чай и высыпать на поднос сахарные коржики из кулька... Иисуса, кажется, тоже называли "рабби".

Синагога была открыта, полна людей в черных кафтанах. Привстав на носки, Вадим Соловьев с удивлением обнаружил, что у противоположной стены, скрытой от него тесно стоящими черными кафтанами, нет никакого стола, сколоченного грубо. Да и фанерная тумбочка, на которой русский старик заваривал чай, исчезла, и самого старика нигде не было видно.

— Это синагога рабби Абоаба? — потерянно оглядываясь и узнавая картины на стене, спросил Вадим Соловьев, ни к кому в отдельности не обращаясь.

— Да, — повернулся к нему один из Черных Кафтанов.

— А где рабби? — спросил Вадим Соловьев.

— Рабби Абоаб умер, — сказал Черный Кафтан.

— Когда? — вскрикнул Вадим Соловьев.

— Четыреста пятьдесят лет назад, — сказал Черный Кафтан и поглядел на Вадима внимательно.

— Но как же! — выдавил Вадим Соловьев сквозь вдруг ставшее сухим горло. — Ведь я вчера... Вот здесь стоял стол... Рядом с ним сидел курд в сатиновых штанах... И старик разносил всем чай...

Черный Кафтан пожал плечами и отвернулся.

Еле волоча ноги, как после сильного, оглушающего удара, Вадим вышел на улицу. Он отчетливо и холодно ощущал обрыв, обруб своей жизни — и новое, робкое рождение.

Он шагал, покачивая и помахивая головой, взмахивая руками, сторонясь шумных и широких улиц. Редкие встречные люди не останавливали на нем своего внимания и не предлагали помощь — потому, может быть, что лицо его не выражало ни печали, ни боли. Он вышел к стене Старого города, к Дамаскским воротам.

Из Дамаскских ворот тянуло сухим жаром и запахом пряностей. Вадим Соловьев поморщился и замедлил шаг, как будто наткнулся на упругую преграду: запах был незнакомый, резкий. Вся площадь перед воротами была, собственно говоря, базарной площадью: здесь торговали с лотков и с рук, с тележек и с разостланных на земле тряпок и платков; торговали лепешками и водой, часами и тутовником, рахат-лукумом и сандалиями, и смоквами торговали. Красивый старик с безучастным лицом, в длинной, до земли, белой рубахе, закинув за спину серебристый металлический сосуд в форме цапли, торговал коричневым напитком с финиковым запахом. В широкий пояс, похожий на патронташ, были вставлены у него стаканы для напитка; нагибаясь, старик наклонял

тем самым свой сосуд, и коричневая жидкость была из длинного клюва цапли, из-за плеча старика, в подставленный стакан. За воротами, на узкой и кривой улице, торг продолжался, только торговали теперь и вразнос, и в лавках, сплошь занимавших первые этажи двухэтажных домишек улицы. Пекли блины на передвижных печках, похожих на турецкий барабан, торговали кожами и грушами, одеждой и транзисторами, каким-то зеленым порошком и бедуинскими кинжалами. Толпа одета была бедно и пестро, некоторые женщины закрывали голову вместе с лицом черной сетчатой накидкой. Двое оборванных детей, положив на глубокий ящик на колесиках фанерный щиток, торговали густо обсыпанными тмином большими баранками; на дне ящика, свернувшись полусью, спал их приятель. Возле одной из лавок, над входом в которую написано было по-английски "меняла", Вадим Соловьев остановился. Из витрины глядели на него с десятков ассигнаций Герцль и Ленин, Вашингтон и Делакура, какие-то латиноамериканские генералы в парадных мундирах. Сквозь толстое стекло Вадим всматривался в лицо менялы. То был человек средних лет, восточной наружности, с тупым взглядом выпуклых темных глаз, с тонкими, плотно сведенными губами и кругленьким безвольным подбородком. Свесив жирные бабьи плечи, он сидел совершенно неподвижно за высоким прилавком, в скупой и скучно освещенной комнате, и глядел в открытую дверь, в месиво уличной толпы... Вадим Соловьев впервые в жизни видел менялу. Уже отходя от лавки, он представил себе Иисуса, яростно выгоняющего этого неинтересного торговца деньгами из Храма.

Пройдя с километр по торговой улице, следуя ее

извивам, заглядывая в черные пещеры кузнечных мастерских, в глубине которых копошились полуголые, покрытые копотью люди, Вадим подошел к узкой, как пенал, мясной лавке. На черных медных крюках, вбитых в потолочную балку, висели освежеванные бараньи туши, поджарые, розовые, обложенные белым, в радужной пленке, жиром. Головы были отрублены, туши висели обрубками вниз, упиравшись шеями в круглые подносы с требухой — каждая туша в свой поднос с кишками, печенью и легкими. Выше подносов, туш и крюков, на зеленой фанерной вывеске, был изображен лев, терзающий барашка. Еще выше, на эмалированной уличной табличке, значилось: "Виа Долороза".

Вадим Соловьев долго рассматривал табличку, а потом огляделся по-новому, и ничего нового не обнаружил в торговой улице и в толпе людей, похожих на узбеков или армян. Вот по этим, значит, камням, политым нечистотами, вели на казнь Иисуса, и крылья креста задевали за эти стены, может быть, и за стену мясной лавки. И вот так же, облокотясь о черный от крови прилавок, глядел на приговоренного мясник в белой вязаной шапочке. А Иисус тащился, волоча свои высокие журавлиные ноги, и не было у него сил говорить к торговцам, ненавидящим его, да и смысла никакого не было. Он все уже сказал, что успел, и лишь горстка ненадежных мужчин да преданных женщин слушала его вдумчиво; а прочие, как малые дети, ждали от него фокусов... И, тащась по вонючим камням, не о скорой смерти думал Иисус, а о страшной бессмысленности содеянного: вот его Божий народ, народ торговый, глядит на него со злобой и безжалостным детским любопытством. Глядит из-за туш и подносов мясник, спекулирующий

мясом жертвенных животных, глядит меняла с камнем в руке — бросить его в нарушителя священной и прибыльной храмовой торговли. Опасный человек Иисус из Назарета, фокусник и фантазер, хотя и забавный; сегодня он по воде пройдет, как посуху, а завтра в карман залезет к почтенному торговцу так, что тот ничего не заметит, и украдет кошелек. Такие люди долго не живут: им не надо, и нам не надо.

Церковь с надстроенной колокольной стояла в конце улицы, по соседству с минаретом, который был чуть выше колокольни. На вырубленной в камне площадке перед церковью сидели и расхаживали люди, приехавшие сюда с разных концов мира: были тут и желтоволосые северяне, и негры с широкими носами, и японцы, и монахи в рясах черных, белых, розовых и коричневых. Несколько монахинь сидели у желтоватой, цвета старой слоновой кости каменной стены. На фоне черной просторной одежды, покрывающей их с головы до ног, тускло-желто светились их лица да кисти рук, сведенные и сложенные на коленях. Прямо высвеченные сильным солнцем, фигуры монахинь казались необъемными, плоскими, как на иконе, на золотистой доске.

В центре полутемной церкви помещалась каменная островерхая часовенка. Перед низким входом в нее стояло в очереди десятка три людей, мужчин и женщин. Люди стояли скорбно, переговаривались друг с другом шепотом, как перед открытой могилой... Сюда, значит, приволокся по смрадной улице назаретский Иисус, здесь принял он казнь и смерть, и над его каменным гробом поставили потом часовню. Здесь, на окраине базара, кружили и жужжали синие

мухи над мертвым телом фантазера и чудака, взявшегося улучшить торговое племя людей.

Очередь подвигалась быстро. Нагнув голову и плечи, Вадим Соловьев шагнул в низкую дверцу. Крохотная комнатка была словно пристроена к каменному саркофагу, вмурованному в правую стену, во всю ее длину. Но прежде саркофага Вадим увидел прямо перед собой седобородого краснощекого монаха, с доброй улыбкой протягивавшего ему длинную коричневую свечку. Толстая пачка таких свечей лежала на табурете, у изголовья гроба.

Не ожидавший встретить здесь служащего, Вадим Соловьев, не беря свечу, отстранился немного от доброго человека и жадно повернулся вправо, к гробу. С каменной розовой крышки глядели на него Герцль и Ленин, Вашингтон и Делакура и латиноамериканские генералы в парадных мундирах. Ассигнации были насыпаны густо, над головой Иисуса.

— Уан доллар, — не убирая руки со свечой, ласковым голосом сказал монах. — Онли уан доллар.

Вадим Соловьев попятился.

На церковном дворе монахини все так же сидели вдоль желтоватой стены, подставив солнцу лица и ладони. Сбоку от них опустился на строительный каменный обрубок Вадим Соловьев и прислонился спиной к прохладно-теплой стене; глубинный холод камня сочился из недр древней стены и охлаждал нагретую ее поверхность.

Вот и конец истории об Иисусе из Назарета. Вот, значит, и все. Он умер, и люди приспособили его гроб под торговый прилавок. Он, нищий, разогнал храмовых торгашей — кто вышвырнет из его могильной часовни свечного торговца с ласковым голосом? Ведь и



у тех менял, наверно, голоса были ласковые: "Уан доллар. Онли уан доллар". Кто вышвырнет — того, наверно, не распнут, а засадят в сумасшедший дом. Иисуса тоже считали безумцем, только в его время вместо смирительной рубашки на инакомыслящего сразу надевали погребальный саван... Ну, хорошо, здесь это, кажется, не принято, подумал Вадим Соловьев, это у нас в России все просто: аминазин, смирительная рубашка, семь лет лагеря. "Фома Пухов на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки". Это у нас возможно, а торговать свечами или селедками на Христовом гробе едва ли кому пришло бы в голову. Вот возьми и выгони, Вадим, выгони, Вадик, этого свечника! Христиане тебя за это проклянут как святотатца, а евреи посадят в тюрьму как нарушителя общественного порядка. Ну, пройди по знакомой дороге, по Виа Долороза, ворвись в Храм, выгони! Слабо тебе, Вадик, да и неловко как-то. В России не слабо было правду писать, хоть Лубянка пострашней местного суда. А здесь правды и не скажешь, а и скажешь — не поймут: привыкли, неинтересно. Да и на каком языке сказать: на русском? Кто станет слушать? Это в России слушали, спасибо говорили за правду. И, как высшую награду, давали лагерный срок. А оставленные до поры на свободе бросали цветы под колеса тюремного фургона... Здесь и передач носить не надо: попробуй, недодай какому-нибудь бандиту кусок курицы — он всю тюрьму разнесет, до Президента допишется.

В сухом, прокаленном воздухе жужжала синяя муха. И Вадим вдруг вспомнил, ощутил: желтая тропинка через сосняк, густой, настоенный на хвое лесной воздух, и вот тыходишь в легкое облачко толкун-

цов, норовящих ужалить, облепляющих лицо, и ты машешь руками, и шлепаешь себя по щекам и ругаешься, и прибавляешь шагу, и звенящее облачко остается позади... Сюда бы, сюда, во двор храма Иисусова гроба, хотя бы это российское лесное облачко, хотя бы его!

Вечером этого дня он сказал Нелли Цветковой:

— Здесь все разбито на квадратики, и в каждом квадратики сидит свой паук за прилавком. А в России — трясина, ужас, все перемешано, хлябь. Но Бога, мне кажется, надо искать там, где совсем плохо. Там люди слушают.

Они сидели за столом, за бутылкой водки. В консервных жестянках серебрились генисаретские сардины, алел маринованный перец. Нелли Цветкова не любила переводить время на хозяйство.

— Да, верно это, — сказала Нелли. — Но мы из России уехали сами, и все разговоры о ней — чистая теория. О ней только стихи осталось писать...

— Я не сам уехал, — перебил Вадим Соловьев. — Меня выслали. Один гад выслал, а другой, может, обратно впустит... Отсюда люди в Россию возвращались, были такие случаи?

— Редко, — подумав, сказала Нелли. — Несколько человек вернулось. Но они все ехали сначала в Вену, а там уже добивались.

— В Вену... — легонько постукивая ногтем по краешку рюмки, повторил Вадим. — В Вену...

— Оставайся лучше в Иерусалиме, — едва слышно сказала Нелли Цветкова. — Вот у меня тут жить можно... Я тебя с нашими познакомлю, с христианами. А, Вадим?

— Если я даже на самой Виа Долороза поселюсь, — усмехаясь, сказал Вадим, — в мясной лавке там буду

ночевать — что, я от этого стану ближе к Христу? Да я и не верю ни в какие эти дела с непорочным зачатием, с ангелами — это все чудеса в решетке... Просто, был Иисус, и он хотел, чтобы люди стали немного лучше, и ничего у него из этого не вышло. Вот тебе и все.

— Да что ты такое говоришь! — Нелли прижала ладони к щекам, глядела ясно. — А Церковь!

— Я сегодня был в церкви, — поморщился Вадим Соловьев. — Больше не пойду: музыку я не люблю, и людей там, как в театре. Не пойду. — Рассказывать о том, что он видел в могильной часовне, у него не повернулся бы язык.

— Но ты в Иисуса Христа веришь? — не отнимая ладоней от щек, спросила Нелли.

— Да, — сказал Вадим Соловьев. — Я ж тебе сказал. Он был, наверно, необыкновенный человек. А люди сделали из него Бога, а из его намерений — самую настоящую контору, со справочным бюро, с отделом кадров, с кассой. Если б он все это видел, он бы во второй раз умер.

— Но ведь как же по другому-то... — жалобно сказала Нелли. — Ведь другого-то нет ничего...

Вадим молча налил водки, чокнулся, выпил. Ему надоел этот разговор, он боялся сказать Нелли то, чего говорить ей не хотел. Мыше — той бы он сказал.

— Так ты говоришь, были все же случаи, чтоб в Россию обратно впускали? — спросил Вадим.

— Тут на это смотрят, как на предательство, — сказала Нелли. — Глупо, конечно. Кому какое дело?

— Пусть смотрят, — махнул рукой Вадим. — Я ни у кого прощения просить не собираюсь... Просто я сегодня вот почувствовал, что хочу обратно. И не потому, — обороняясь, отбиваясь от чего-то, он по-

высил голос, — что и здесь, и там — одно и то же дерьмо! Здесь свобода, это верно. Но я не знаю, что с этой свободой делать. А там знал, что делать с несвободой: писать. И писал. А здесь — не могу.

— Ты даже не представляешь себе, как я тебя хорошо понимаю, — не глядя на Вадима Соловьева, сказала Нелли. — Я ведь полукровка, иначе говоря — русская. Это здесь большое неудобство. — Она улыбнулась, как бы ожидая Вадимова подтверждения. — Я тебе во всем помогу, во всем! Ты только скажи, чего б ты хотел...

— Как ты мне поможешь! — почти грубо сказал Вадим Соловьев. — Ты поможешь мне вернуться в Москву? Или чтоб одна женщина в Вене согласилась со мной жить?

— Если тебе никто не поможет, — сказала Нелли, — ты отсюда никуда не уедешь. Справки нужны всякие, паспорт, билет... Привезти тебя Сохнут привез, а увозить не станет.

Вадим молчал, смотрел на Нелли с вопросом; она хотела еще что-то сказать, недоговаривала.

— Христиане наши тебе могут помочь, — продолжала Нелли. — Только...

— Только — что? — поторопил, подтолкнул Вадим Соловьев. Нужно уходить от зарезанной книги, от умершего полтыщи лет назад рабби Абоаба. От денег на Иисусовом гробе. От свадебного нищего, который был, но которого не было. От ссуды, полученной в Министерстве абсорбции под обещание написать повесть о еврее-отказнике. Хватит! Надо уходить, как из горящего леса. Надо добираться до Вены всеми правдами и неправдами — через христиан или через буддистов, все равно — и потом искать дорогу в Москву, в Конуру, к сотне читающих его, Вадима Соловьева,

мальчиков и девочек, которых он не нашел ни в Европе, ни в Америке, ни на Божьей земле, да еще к сотне скупых на похвалы его прозе, но думающих московских стариков и старух, которых он тоже нигде не нашел. Надо уходить, чтоб не свихнуться окончательно и не залезть в петлю в каком-нибудь историческом подвале.

— Так что — "только"? — повторил Вадим.

— Ты некрещеный? — спросила Нелли.

— Какой там крещеный! — усмехнулся Вадим Соловьев, вспомнив Киев, родительский дом, отца в расшитой украинской сорочке.

— Тогда тебе надо будет креститься, — сказала Нелли.

Слух о крещении Вадима Соловьева приполз в Тель-Авив с иерусалимских гор скоро и вызвал приглушенный скандал. Чиновники из отдела абсорбции деятелей культуры поджимали губы, Сема Рубин сокрушенно покачивал головой и вздыхал. Славка Кулеш сел в свою "Альфа-Ромео" и поехал в Иерусалим.

— Ну, поздравляю! — сказал он Вадиму, кося глазом на Нелли Цветкову и выставляя на стол бутылку коньяку. — Выпить надо по этому поводу, мы ж, все-таки, не мусульмане, а бывшие русские люди... Нелли, есть селедочка закусить?

— Нет селедочки, — сухо сказала Нелли. — А хочешь, чтоб я вышла — ну, так и скажи.

— Ну да, — беспечно подтвердил Славка Кулеш. — Только за селедочкой.

Нелли вышла, и Славка свинтил крышку с бутылки.

— Ну, давай, — сказал Славка Кулеш. — За тебя. У нас там в Тель-Авиве все чуть с ума не сошли... Ты, правда — того? Перешел?

— Перешел, перешел, — сказал Вадим Соловьев. — Знаешь, Славка, я хочу уехать отсюда.

— В Америку? — спросил Славка с интересом.

— В Москву.

— О-го! — сказал Славка Кулеш. — Пустят, думаешь? Там ведь не праздник.

— А где праздник? — спросил Вадим. — Ты его видал, праздник? Я, когда к Вене подлетал из Москвы, думал: "Вот, сейчас спущусь с самолета и всю правду расскажу свободным людям, и напишу все, что в России не написал". А кому она здесь нужна, наша правда? Свободным европейским людям? Плевали они на нее, у них своя правда есть. Старым русским эмигрантам? Так они ведь считают, что мы никакого отношения к России не имеем: либо мы жида, либо — просто советские. Еще скажут тебе так, снисходительно: "А вы неплохо говорите по-русски, молодой человек!" Это же просто и смех, и грех! Как будто они тут живеи по-русски говорят, чем ты, или я, или Ванька какой-нибудь рязанский.

— Это все верно, — помолчав, сказал Славка. — Да не только в том дело... А дело, видишь ли, в том, что русский писатель должен жить в России. И ни Бунин тут не пример, ни Набоков: времена были другие, и люди они были другие. А тебе хорошо нигде не будет, Вадик; но там все же будет лучше, чем здесь.

— А тебе? — спросил Вадим Соловьев.

— А я не русский писатель, — сказал Славка Кулеш. — Я — "русскоязычный", бывшая жидовская морда. Я отсюда двинусь — мне евреи скажут: "сволочь!", а в Россию приеду, русские скажут: "предатель, сначала нас предал, а потом своих же евреев". А в Париж или в Нью-Йорк ехать сидеть — так какой же в этом смысл, это ни два, ни полтора, только что

мясо там сочней, и в армию не берут... Грустно все это, между нами говоря.

— Так ты, значит, считаешь, что я предатель... — полувопросительно сказал Вадим.

— Ты что! — сказал Славка Кулеш. — Ты — русский писатель, я ж тебе говорю. И если тебе здесь кто чего скажет — плюнь: дурья повсюду хватает... Ну, давай еще по одной!

Они выпили, зажевали хлебом.

— А Ешу из Нацерета был дивный человек, — сказал Славка и с размаху двинул Вадима Соловьева по плечу. — Жалко, наши его никак не хотят признавать: упрямые, черти! Ну, да хрен с ними... Я вот еще что: мне тут деньги подсыпали, аванс английский. Давай по-честному поделим, пополам. Тебе деньги нужны: билет, то да се. Давай, бери, может, увидимся еще когда-нибудь, кто его знает.

Когда Нелли Цветкова явилась с селедочкой, коньяка в бутылке оставалось на доньшке.

— Где здесь лавка-то? — спросил Славка Кулеш, подымаясь из-за стола. — Дай-ка я теперь за бутылкой сбегаю: дорого яичко да ко Христову дню... Уезжает, все-таки, человек...

Вадим Соловьев улетал ранним дождливым утром. Недоезжая аэродрома, его маршрутное такси сбило на дороге собаку — крупного, костлявого бродячего пса. Шофер, ругаясь, остановил машину на обочине и вышел поглядеть на помятое крыло и разбитый подфарник. Собаку отбросило ударом в кювет, и она лежала там неподвижно. Глядя с отвращением то на шофера, ощупывавшего крыло, то на убитую собаку, Вадим дивился тому, что удар вышел таким сильным; ему никогда в голову не приходило, что большая

машина может пострадать от наезда на собаку. Потом он вдруг вспомнил, как собаку, сбитую черной "Волгой" на Лубянской площади, затаскивали, закогтив пожарным багром, в ворота тюрьмы... Вадим поспешно отвел взгляд от собаки и от шофера, досадливо скривил лицо: "Что это меня тянет в последнее время на воспоминания, да еще на такие гнусные!"

В верхнем зале аэропорта, глядя сквозь стеклянную стену на самолеты с красивыми знаками на хвостах, Вадим Соловьев не ощутил ни предотъездного облегчения, ни предотъездного беспокойства. Только стоя у сувенирного киоска и покупая дешевенький крестик из кипарисового дерева, он почувствовал нетерпение: скорей, скорей, ведь через несколько часов он отдаст этот крестик Мыше.





## 10. ВЕНА. ЛЮБОВЬ

Всю дорогу от аэродрома к Мышиному дому Вадима Соловьева донимали воспоминания. Он противился им, как мог — да, видно, не мог: неопытно заснеженные улицы предместья были точно такими же, как год тому назад, когда он бродил здесь с Захаром, рассуждая о счастье, о чуде, о вкусе вина. В трамвае, на который пересели с автобуса, все так же приятно были нагреты сиденья — как тогда, когда они ехали с Захаром в Грюнциг. Здесь, несомненно, ничего не изменилось со смертью Захара, со смертью тысяч и тысяч людей этого города, перевезенных за этот год из домов на кладбища.

Изменился Вадим Соловьев.

Изменилась ли Мыша — этого Вадим не знал и не хотел об этом думать: а вдруг изменилась.

Мыша сидела рядом с Вадимом на теплом трамвайном сиденье, и ему неловко было все время поворачивать голову и глядеть на нее: ведь она, как и он, думала сейчас о Захаре, и Вадимовы взгляды могли быть ей неприятны и тягостны. И Вадим Соловьев досадовал, что не нашлось другого места и

что Мыша не села против него; тогда можно было бы глядеть на нее беспрепятственно, не поворачивая головы.

С самого аэродрома, когда Вадим осторожно обнял ее и поцеловал куда-то в воротник пальтишка, они почти и не разговаривали: бессмысленно было говорить о чем-либо, минуя Захара и его смерть. А расспрашивать о Захаре у Вадима Соловьева недоставало смелости. Он ждал, пока она заговорит сама; но молчала и Мыша.

Чем ближе подъезжали они к дому, тем тревожней и мучительней размышлял Вадим Соловьев над тем, что скажет он, переступив порог, войдя в кухню или в комнату. Ведь нельзя же будет молча сидеть за столом и глядеть на Мышу, хотя именно это было бы всего лучше. Сидеть, молчать без неловкости — а слова придут потом... В том-то и дело, что никуда не убежишь от этой проклятой неловкости.

От неловкости не убежать, и не убежать от того, что было здесь год назад. Да что ж это за беда, Господи, Боже мой! Все, все в жизни обращено назад, все упирается в прошлое, вершинами торчащее в памяти, далекими и близкими вершинами. И ни о чем невозможно думать, не оглядываясь назад, и нельзя говорить, не чувствуя спиной эти вершины. С какого же времени, с какого возраста начинается для человека прошлое? С семи лет, с тринадцати? С самого рождения? И что есть у него, кроме прошлого? Все, все уместается в памяти, в этой черной коробке, обклеенной изнутри голубым бархатом. Память — это и есть человеческая жизнь, и никто не знает, почему до самого конца сохраняется в памяти и блестит, как стеклышко на солнце, пустынное какое-нибудь событие — а иные глыбы и горы рядом с этой искрящейся песчин-

кой выветриваются и разрушаются. Не знает себя человек, никак не может прочесть себя до точки и выучить наизусть — только прошлое свое знает, выложенное цветными камушками в черной коробке.

— Нам сходить, Вадим, — сказала Мыша, касаясь вытянутым тонким пальцем его локтя. — Забыл?

— Нет-нет, что ты!.. — пробормотал Вадим Соловьев, вскакивая поспешно.

В кухне было тепло, светло, стол покрывала клетчатая скатерка, и "Спидола" стояла на холодильнике.

— Ты в этой куртке совсем окоченел, — сказала Мыша. — Чай сам заварить, или я? Вон там, цейлонский.

— А, ты помнишь... — сказал Вадим. — Жуткое это дело — память. Я всю дорогу об этом думал, когда мы ехали.

— Вот и приехали, — сказала Мыша. — Так я сама?

— Если тебе не трудно, — сказал Вадим и вдруг почувствовал, как сладко, пьяно закружилась у него голова: вот сейчас она, как тогда, подойдет к стенному шкафчику, и привстанет на цыпочки, и, немного откинувшись назад, потянется рукой к высокой полке, за заваркой.

Она и подошла, и потянулась, и вместо того, чтобы смотреть на нее, на ее ноги и высокие плотные бедра и падающие волосы, он вскочил и бросился к ней — помогать.

— Сиди, сиди, — сказала Мыша. — Тебе еще сколько рассказывать.

— А в Ленинграде какая погода? — спросил Вадим, кивая на "Спидолу". — Холод?

— Мороз, — сказала Мыша, подсаживаясь к столу против Вадима Соловьева. — Сегодня послушаем... Помнишь, как слушали?

— Помню, — сказал Вадим. — Ты тогда включила приемник и села вот сюда, а я здесь сидел...

И оба они поглядели на третий стул у стола, свободный, а потом взглянули друг на друга.

— Ты рассказывай, — сказала Мыша.

— Да, — сказал Вадим Соловьев. — Даже не знаю, с чего начать — столько всего случилось.

— А ты давай по порядку, — сказала Мыша.

Но он начал с конца: с зарезанной книги, с Израиля, с рабби Абоаба и денег на Иисусовом гробе. Она слушала молча, внимательно, перебив только раз: спросила, какого числа прилетел он в Израиль. Но Вадим не помнил числа, назвал примерно и ошибся. И Мыша то ли разочарованно, то ли облегченно покивала головой: получалось так, что Захар погиб за неделю до прилета Вадима в Тель-Авив.

Известие о том, что Вадим решил добиваться возвращения в Россию, Мыша приняла без удивления. А Вадим боялся, что она станет отговаривать его, убеждать.

— Может, ты и прав, — сказала Мыша. — Особенно, если ты не хочешь или не можешь жить просто так.

— А ты? — спросил Вадим Соловьев.

— Могу, — сказала Мыша. — И Захар жил просто так, легко.

Она впервые за этот вечер назвала имя Захара.

Степан Петрович Удалов любил роскошь. Он ездил в роскошном автомобиле, в его доме помещалась роскошная мебель карельской березы, внутренний карман его пиджака оттягивал роскошный золотой "Ватерман", он был привязан к роскошной домашней собачке редкой тибетской породы, и ангорский кот в зеленом ошейничке, которого он терпеть не мог,

тоже был роскошным. Жена Степана Петровича, по всеобщему мнению, была женщиной роскошной, и именно это обстоятельство кое-как примиряло Удалова с его дородной половиной и не давало распасться семье. Сам же Удалов, после двадцати лет совместной жизни, видел в Татьяне Николаевне лишь втиснутое в роскошное белье и одежду беспредельно надоевшее ему тело, мерзко храпевшее по ночам. О мирном же разводе с женой Степан Петрович не думал никогда: это решительно затормозило бы его медленное, но зато верное восхождение по служебной дипломатической лестнице, столь богатой крутыми поворотами. Второй советник посла СССР в Австрии Степан Петрович Удалов был человек оглядчивый, ловкий и отнюдь не дурак. Он был почти уверен, что, при его связях в Большом доме, через два-три года его ждет назначение послом в какую-нибудь маленькую африканскую страну. В своей роскошной венской квартире он терпеливо ждал этого назначения.

В не слишком широкий круг служебных обязанностей Степана Петровича входил, по договоренности с начальником Еврейского отдела КГБ генерал-майором Лукомцевым, догляд за тремя сотнями евреев, эмигрировавших в разное время из Советского Союза и просящихся теперь обратно. Людей этих, обивавших порог советского посольства, следовало держать, по указанию Лукомцева, в постоянном напряжении, не говоря им ни "да", ни "нет", а и говоря "нет" оставлять, все же, малую надежду на грядущее "да". Их судьба целиком зависела, разумеется, от Москвы, но они желали видеть верховную власть в Степане Петровиче Удалове, и он с ними на этот предмет не спорил и снисходительно их не разубеждал. Все три сотни были послушны и преданы Степану Петровичу

чрезвычайно. За один лишь туманный намек на получение въездной визы в СССР каждый из них готов был по указанию Степана Петровича совершить героический поступок: устроить общественный скандал, украсть, убить. Ради этого, собственно, их и держали на коротком поводке в Вене, под рукой. Из десятка оперативных планов по их использованию, разработанных ведомством Лукомцева, Степану Петровичу больше всего нравился вот какой: евреи с женами и детишками захватывают американский культурный Центр, берут заложников и направляют Президенту послание с просьбой походатайствовать перед Брежневым, чтоб он учел их искреннее раскаяние, простил ошибки и пустил обратно в Россию. Текст обращения хранился в личном сейфе Удалова, в папке под кодовым названием "Маятник".

Подшефные евреи Удалова были в прошлом людьми торговыми, либо без определенных занятий, перебивавшимися в Вене с хлеба на воду. О каждом из них Степан Петрович посылал запрос в Москву, и через месяц-другой получал подробное досье, из которого можно было узнать о ходатае многое или почти все: где, чем и как торговал в СССР, имел ли судимости, состоял ли на психиатрическом учете, чем занимался после эмиграции — в Израиле или в Америке, не позволял ли себе там высказываний или действий, направленных против Советской власти. Оперативные донесения из стран иммиграции были многочисленны и подробны: Лукомцев с аппаратом не зря занимал целый этаж в Большом доме.

Досье Вадима Михайловича Соловьева, полученное с последней диппочтой, занимало Степана Петровича. "Без определенных занятий, — читал Степан Петрович, — распространялся в Самиздате ограниченно, по-

вторной проверкой в активных связях с врагами народа, порочащими советский государственный строй, не уличен. Отец — русский, мать — полуеврейка. В Риме и Нью-Йорке не проявлялся. В донесении киорежиссера Кирилла Волоха (Ефима Рабиновича) из Парижа охарактеризован как "умеренный". В Иерусалиме крестился. Высылка из СССР с использованием израильского канала осуществлена по ошибке следователя второго ранга майора Середюка". К досье была приложена машинописная копия повести Соловьева "Мощи", которую Степан Петрович пролистал безо всякого интереса, не обнаружил там ничего увлекательного и был этим даже несколько разочарован: он ожидал от самиздатчика большего.

Самиздатчик, однако, требовал особого подхода — иного, чем торговцы пивом и мануфактурой, изрядно надоевшие Степану Петровичу. Удалов не сказать, чтоб специально готовился к встрече, назначенной им Вадиму Соловьеву, — но продумал все же несколько вариантов разговора с писателем без определенных занятий. Предстоящая беседа с ошибочно высланным Соловьевым, не придумавшим ничего лучшего, как креститься в жидовском Израиле, обещала быть занимательной. Что же касается майора Середюка — Степан Петрович был уверен, что следователь второго ранга предпримет все от него зависящее, чтобы не допустить возвращения Вадима Соловьева в СССР. Ну, ошибся следователь, это со всяким может случиться! Но репатриационная виза Соловьеву означала нежелательное шевеление старого дела, возможные служебные осложнения и даже выговор, скорее всего устный... Степан Петрович Удалов никогда прежде не встречал человека, высланного из СССР по ошибке, и даже не слышал о таком забавном курьезе.

Однако, и возможность положительного решения не следовало отмечать категорически. Кто он такой, собственно, этот Середюк? Кто его поддерживает? Найдется, наверняка, какой-нибудь капитан, мечтающий на его место. А если вся эта дурацкая история дойдет до Лукомцева — тут уж вовсе неизвестно, как обернется дело: вдруг там, наверху, решат, что выгодно козырнуть перед американцами либерализмом по отношению к творческой интеллигенции.

Поразмыслив, Степан Петрович решил встретиться с Вадимом Соловьевым у себя дома и потолковать с ним, так сказать, по-свойски, по-отечески.

Вадим явился точно в назначенное время — худой, длинный, в холодной, не по сезону, куртке. Раздевшись и тщательно вытерев ноги в передней, украшенной оленьими рогами и гравюрами с изображением охотничьих сцен, он по блестящему паркету прошел в хозяйский кабинет.

— Присаживайтесь, Вадим Михайлович! — Удалов указал на массивное кожаное кресло перед письменным столом. — Заявление ваше я получил, навел кое-какие справки. Вы, значит, хотите вернуться на родину... Чаю, кофе? Рюмку коньяку? — он энергично потряс старинным настольным колокольчиком, вызывая служанку.

— Я хотел бы вернуться, если это возможно, — сказал Вадим Соловьев, старательно подбирая слова. — Я не по собственной воле уехал. Мне рассказывали, что несколько человек получили разрешения.

— Я понимаю вас... — Удалов наклонил голову к плечу, и Вадим Соловьев увидел на его макушке аккуратно причесанные рыжеватые волосы. — Конечно, писатель должен жить среди своего народа. Я читал ваши "Мощи" — очень своеобразная вещь.



Вадим Соловьев быстро, остро взглянул на Удалова — не поддавливает ли его хозяин, не издевается ли. До озноба, до онемения пальцев страшно было слышать такие приятные вещи от советского начальника, держащего в руках его, Вадима Соловьева, судьбу.

— Спасибо... — выдавил, наконец, Вадим. — Я, вообще-то, пишу психологическую прозу, характеры...

— Да-да! — с подъемом поддержал Удалов. — Мы знаем, что вы не антисоветчик, Вадим... Можно просто "Вадим"? Не обидетесь? Ну и прекрасно.

— Вы думаете, мне разрешат вернуться? — спросил Вадим Соловьев, стараясь говорить ровным голосом.

— Мне потребуется проверить еще кое-какие факты, — поглаживая подбородок, неопределенно сказал Удалов, — навести дополнительные справки. За ошибки, разумеется, следует расплачиваться. — Вспомнив майора Середюка, он чуть заметно улыбнулся. — Но вы, сколько нам известно, уже хлебнули горя... Вы ведь много ездили, много видели, не так ли?

— Да, — вздохнув, согласился Вадим Соловьев. — Это было...

— Ну, вот видите! — оживился Удалов. — Ваша история многим, многим может послужить примером. — Он снова вспомнил незадачливого Середюка и улыбнулся уже открыто. — Я бы на вашем месте написал статейку для газеты, для "Известий", скажем, о вашем горьком опыте.

— Это обязательно? — поморщился Вадим Соловьев. — Мне бы не хотелось...

— Это существенно облегчит ваше положение, — твердо сказал Удалов. — И кому ж писать, если не вам, писателю? — он протянул Вадиму хрустальную

вазочку с круглыми конфетами, завернутыми в золотую бумажку.

— Знаете, — сказал Вадим Соловьев, беря конфету, — все то, что случилось — это, скорее, материал для рассказа, чем для газетной статьи.

— Может быть, может быть, — сказал Удалов. — Вам видней... Но мы, — он подчеркнул **мы**, — заинтересованы в том, чтобы такая статья появилась. Допустим, вам трудно ее написать или, вернее, вы боитесь, — теперь он подчеркнул **б о и т е с ь**, — что ваши московские друзья вас за нее осудят. Но, если Париж, как говорится, стоит обедни, то и Москва стоит такой статьи. Или давайте сделаем так: я вам дам готовый текст, а вы его только подправите, отредактируете. А?

Вадим Соловьев молчал, уставившись на свое заявление, лежавшее на столе перед Удаловым.

— Вы ведь вот крестились в Иерусалиме, — журчило продолжал Степан Петрович. — Вы ж не будете меня убеждать, что никак не могли обойтись без купели и всего этого реквизита! Верите в Бога — ну и верьте на здоровье: не вы первый, не вы последний... Нет, Вадим, вы мне не говорите: вы крестились потому, что вам нужна была помощь, — и вам помогли. Верно? Ну, вот. — Удалов не спеша и с видимым наслаждением отхлебнул кофе из чашечки и продолжал: — Оттого, что вас обрызгали водой, ваша вера стала крепче? Вряд ли. Вы ведь умный человек, так мне и из Москвы о вас сообщили. Значит, вы там, в Иерусалиме, трезво оценили создавшееся положение и пошли на маленькую уступку — нет-нет, не совести, это ни в коем случае, совесть здесь не при чем — а реальной действительности. А если б евреи предложили вам сделать обрезание и за это помочь в вашем деле —

вы на это пошли бы? А? Если б у вас не было другого выхода?

— Не знаю, — сказал Вадим Соловьев.

Ему хотелось встать, уйти, и он знал, что этого не сделает.

— Пошли бы, пошли бы, — Удалов легонько похлопал ладонью по Вадимову заявлению. — Подумали — и пошли бы... Ну, вот и считайте, что статейка — это тоже, в своем роде, уступка реальной действительности. Советское государство предъявляет вам счет (счет этого идиота следователя, — добавил про себя Удалов), и вы должны платить... Между нами говоря, — Степан Петрович понизил голос, как бы говоря нечто не совсем дозволенное и почти интимное, — это не страшной обрезания. А?

— Я бы хотел немного подумать... — сказал Вадим Соловьев, с тоской думая о том, как он сможет объяснить Мыше свое согласие. Это ведь, пожалуй, подлость — и статья, и то, что Удалов сравнивает ее с крещением, с обрезанием. А не подписать ее, отказаться — значит расписаться в получении отказа. Сколько времени уйдет на то, чтобы смыть с себя грязь, — год, два? Или так составить эту проклятую статейку, чтоб всем сразу стало ясно, что писал ее не он, не Вадим Соловьев?.. Ничего не надо об этом говорить Мыше.

— Если я сообщу в Москву, что вы просите время на обдумывание нашего предложения, — услышал он голос Удалова, — это будет истолковано не в вашу пользу. Да и что тут думать, вы уже целый год думали!.. Вы — согласны?

— Согласен, — не подымая глаз на хозяина, сказал Вадим Соловьев. — А когда может прийти разрешение?

— Я постараюсь ускорить решение вашего вопроса, — искренне сказал Удалов и не без жалости к Вадиму подумал о том, что странное, все-таки, существо русский человек. По ошибке или не по ошибке — но вот уехал этот симпатичный паренек на Запад. Нет бы ему выучить какой-нибудь язык, пойти на курсы счетоводов или компьютерщиков, устроиться по-человечески, обжиться... Тянет его обратно в Россию, где его зашлют, наверняка, куда-нибудь в глухомань, под вечный надзор, а то и посадят на всякий случай, чтоб не сболтнул лишнего. Чего он добивается, этот совестливый дурачок? Или по черному хлебу соскучился, по березкам?

Доброжелательно глядя на молчащего Вадима Соловьева, Степан Петрович с легкой досадой вспомнил о своей дачке под Москвой, в жидкой березовой рощице, о том, что хорошо было бы, наконец, перенести уборную со двора в дом, и что, как ни велика его дипломатическая пенсия, плюс за погоны — этого всего никак не может хватить на приличную, привычную жизнь. Глядя уже сквозь Вадима, он вполне отчетливо видел лавку сельпо в своем дачном поселке, нефтяную водку и тошнотворный портвейн на грязных полках, коричневые макаронны в мешке и постное масло в бочке, и как продавщица, грубая и наглая баба, завертывает развесную селедку в газетную бумагу... Как жаль, как бессмысленно жаль, что его, Степана Удалова, лет двадцать пять тому назад не выкинули из России, как этого паренька, упускающего свою удачу, свой единственный шанс в жизни. А теперь уже поздно, и страшно, и здоровье не то. А теперь только и остается назначение в эту гнусную Африку да устройство теплого сортира на даче. Дача, пенсия, ежедневная партия в шахматы с противным стариком Кузов-

левым — бывшим послом в Венесуэле, болезнь, смерть. И нечего даже мечтать о кремлевской больнице и месте на Новодевичьем кладбище.

Степан Петрович Удалов ошибался в своих прогнозах. Три с половиной года спустя после описываемых событий генерал Лукомцев будет смещен со своего поста, а еще через месяц советник посла Удалов получит предписание вернуться в Москву для вступления в должность начальника архива Министерства иностранных дел. Назавтра после получения предписания Степан Петрович явится в посольство Соединенных Штатов в Вене, имея при себе чемоданчик с особо секретными документами и драгоценностями жены, и обратится к американским властям с просьбой о предоставлении ему политического убежища. Эта его просьба будет удовлетворена без проволочек. В том же месяце военный трибунал приговорит полковника КГБ Удалова к расстрелу за измену родине. Приговор будет приведен в исполнение через четыре года, на пятьдесят восьмом году жизни приговоренного, в Москве, куда его доставят после похищения с Багамских островов оперативной группой Второго специального управления КГБ, прибывшей на место на борту научно-исследовательского океанологического судна "Академик Королев".

От грустных мыслей о неблагоустроенной даче и Новодевичьем кладбище Степана Петровича отвлекло глухое ворчание: тибетская собачка, трясая башкой, дергала и теребила шнурки ботинок Вадима Соловьева. Вадим сидел в кресле неподвижно, его лицо выражало отвращение и страх.

— Не бойтесь, она не кусается, — проведя рукой по лбу, сказал Степан Петрович. — Замечательная собачка, а?

— Да, — сказал Вадим. — Просто я не выношу собак. Это, наверно, врожденное.

Статью напечатали в "Известиях". Редакторская рука аккуратно освободила от Вадимовых поправок и вставок первоначальный текст, полученный Вадимом от Удалова.

На исходе третьего месяца после появления статьи Вадим Соловьев получил отказ на свою просьбу о репатриации. Читая отказ, Степан Петрович только плечами пожал: "Ну, идиоты! А у этого следователя, как видно, есть рука где-то наверху...", и велел секретарше сообщить ответ Соловьеву, согласно инструкции, в устной форме.

Вернувшись из посольства, Вадим не застал Мышу дома: она с обеда до восьми вечера нянчила какую-то больную старуху, подрабатывала этим. Вадим лишился заработка после известинской статьи; ему тогда с возмущением отказали от дома, где он по два часа в неделю учил русскому языку внучат старых эмигрантов.

До прихода Мыши Вадим просидел в кухне, не зажигая света, время от времени тихонько разговаривая сам с собою. Отказ обрушился на него, как камень с горы. Он был уверен, что статья, подписанная им — полная цена за возвращение. Презрительные взгляды редких знакомых, стреляющий шепоток за спиной: "Продался! Сволочь! Кагебешник!" — Вадим Соловьев принимал как должное, как горчайшее лекарство, предшествующее выздоровлению и выписке из больницы, о которой, выйдя, следует постараться забыть как можно скорей. Последние три месяца он почти не выходил из дома. Сидя за машинкой, он сочинял за малую плату прошения для желающих вер-

нуться в Россию эмигрантов, адресованные Брежневу, Андропову, советскому послу в Вене. Учитывая профессию и характер просителей, он писал назойливо или трогательно, бодренько или нагло — однако всегда слезно и жалко. Это сочинительство немного развлекало его; вырученные же деньги он без лишних слов подкладывал в Мышин кошелек.

С Мышей он говорил обо всем — кроме того, что могло и должно было, в конце концов, открыться между ними. Он корил себя и грыз за то, что не набрался смелости поговорить с ней начистоту с самого начала, даже не требуя немедленного ответа. А теперь, чем больше проходило времени, тем глупей, как ему казалось, было заговаривать о том, что влекло его весь этот год в Вену. И вот он, наконец, здесь, и они живут как бы одной семьей: стеснение и скованность первых дней прошли, они готовят еду друг другу, и она стирает его рубашки и трусики, и они пользуются одной уборной и ванной, и все это уже в порядке вещей. Но спят они каждый в своей комнате, и утром, когда она выходит в коротком легком халатике и он видит ее высоко открытые, с плотными и нежными икрами ноги, и лепные хрупкие уши, просвечивающие сквозь гущу падающих волос, и угадывает маленькие острые груди под тонкой, почти невесомой тканью — он не может смотреть на нее открыто, глядит украдкой, и у него начинает плавно кружиться голова, как в первый день по приезде... Вадим Соловьев не знал, сколько это будет продолжаться, и не загадывал, как и когда это кончится. Он знал только, что никогда в жизни не испытывал такого странного, приятного и мучительного чувства. Он хотел спать с этой женщиной, с Мышей — и вместе с тем хотел любить ее, и чтоб

она его любила и думала о нем. Прежде его не занимала мысль о том, любит ли его женщина, которая спит с ним. А если он чувствовал, что — да, пожалуй, любит, — он испытывал неприятное беспокойство и стремился свести это знакомство на нет. Не находя в себе сил убрать из кухни третий стул, е го стул, и рассказать Мыше все то, что ему куда легче было бы написать, или просто сказать "я тебя люблю" — он уже несколько раз собирался уйти отсюда, без прощания и без записки. И не уходил, робко надеясь на то, что его уход огорчил бы Мышу и расстроил ее. Только разрешение на отъезд, на возвращение домой могло положить конец этой томительной неопределенности.

Отказ все смешал, все исказил. Ждать теперь стало нечего, и постой в Мышиной квартире сделался бы для Вадима невыносимым. Следовало уходить. Уходить было некуда.

Писать, просить, обжаловать отказ — это все было позорно и бессмысленно. Ехать в Америку или в Австралию было просто ни к чему: с тем же успехом можно шагнуть в окно или выпить две пачки снотворного здесь, в Вене. Остаться в Вене? Даже если бы Мыша полюбила его и они стали бы жить п р о с т о т а к , сторожа больных стариков и сочиняя платные прошения на любой вкус — это не исправило бы его жизнь, а только подправило, подмаслило. Существовая в защищенной, теплой капсуле кухни, Вадиму Соловьеву не оставалось бы ничего, кроме как закрыть свою пишущую машинку навсегда, а если бы необходимость писать когда и пробудилась в нем — единственной его слушательницей оказалась бы Мыша. Вечер, кипит чайник на плите, Вадим читает Мыше... Мало этого Вадиму Соловьеву.

Грязный снег Самотеки, Конура, пролежанный и



прожженный диван. Вечер. Десятка полтора незваных гостей, знакомых и вовсе незнакомых людей. Открытая машинка с заправленным в каретку листом. Независимый прозаик Пес Соловьев. Ну, почти независимый Пес.

Сначала лист в машинке, а потом Мыша, и больше ничего нет в мире. Но сначала — лист. Отказ все смешал, но вот это поставил, вернул на свое место.

Пять лет дают за нелегальный переход границы, не так уж и много.

Мыша вошла в кухню, включила свет. Вадим Соловьев сидел, сгорбившись над столом; чайное блюдечко перед ним было полно окурков. Молча убрав блюдечко, Мыша поставила перед Вадимом пепельницу.

— Отказ, — сказал Вадим.

Мыша подошла, гладила его по голове. Повернувшись, он закрыл глаза и уткнулся лбом, лицом ей в живот. И слово это "отказ", похожее на выпущенный из рогатки камень, и посольство на венской улице, и сама Вена со всем миром впридачу — все это вмиг отодвинулось, отъединилось от Вадима Соловьева и погрузилось в почти неразличимую даль. И, счастливый этим внезапным избавлением, он тихонько, едва двигая губами, благодарно целовал теплую ткань ее платья.

Она нагнулась над ним, поцеловала его в затылок и так осталась стоять, обняв его голову и плечи. Окруженный ее теплом, он чувствовал растворяющее его плоть и его волю, почти невыносимое блаженство. Ему хотелось сделаться маленьким, совсем крохотным существом и всегда находиться в теплой и родной тьме, не пропускающей ни света, ни звука. Мысли

его как бы остановились на бегу и застыли, как в той детской игре, когда один из играющих внезапно хлопает в ладоши и все застывают в том положении, в каком их застал хлопок.

Прошло сколько-то времени — вечер и, может быть, часть ночи.

Окно было еще черно, когда он сказал ей:

— Я хочу идти через границу.

Откинув край одеяла, она оперлась локтем о подушку и глядела на него сверху, неблизко.

— Они тебя посадят, — сказала Мыша.

— Да, — сказал Вадим. — Но когда я выйду, я буду там жить. Больше ничего нельзя придумать.

— Я знала, что ты не останешься, — сказала Мыша. — Вот сама не знаю почему — а знала. Ты бы здесь жить не смог, и нигде — только там.

— Иногда мне кажется, что и там уже не смогу, — сказал Вадим. — За этот год все изменилось, я теперь другой человек. И там мне все может другим показаться, не как раньше. Но я об этом думать не хочу, а то с ума сойду. Я сколько раз чувствовал, что еще немного — и сойду с ума... Я тебе не жалею, я просто говорю.

— Не думай, — сказала Мыша. — Ты об этом не думай.

Он протянул руку и, отведя ее волосы, погладил ее по щеке; пальцы его скользнули по мокрому. Тогда он осторожно, как хрупкую вещь, притянул ее к себе и лизнул солоноватую влажную щеку.

— Когда ты пойдешь? — спросила Мыша. — Ведь не завтра...

— Нет, — сказал Вадим. — Не завтра. Конечно, не завтра.

— Тогда давай не будем сегодня спать, — сказала Мыша.



## 11. ТОЛКУНЦЫ И ПСЫ

Солнечный, светлый лес перемежался прогалинами, болотцами. Вадим Соловьев с удовольствием шлепал по лужам, разбитые его башмаки промокли насквозь и вода хлюпала в них при каждом шаге; и это было приятно Вадиму. Кое-где, редко, лес полосовали едва приметные тропки, но Вадим не выходил на них: его тянуло идти по нехоженной траве, сочной, обильной. Время от времени он забредал в нежный густой подлесок, останавливался там и стоял, запрокинув голову: эти финские парусные облачка на неярком небе, чистые болотца, дикая душистая земля леса — все это словно бы уже было Россией, и никакая граница не подстерегает его впереди. Шагая по бездорожью, он сладко представлял себе, что границу он прошел минувшей ночью, что он, действительно, идет по России и что вот сейчас, в просвете, откроется перед ним бедная деревенька с бревенчатыми избушками, с сельмагом и клубом... Один в лесу, без опаски быть увиденным и услышанным, он напевал что-то себе под нос, или смеялся, или, разбежавшись, падал в густую траву и лежал там несколько минут. Он думал об Америке

и Рима, о Париже и Израиле так, как будто эти места расположены в ином мире и возврат туда из этого приграничного финского леса невозможен. Вздыхая с любовью и приятной грустью, он видел себя прикованным к России навсегда, до смерти. Шагая, он размышлял вслух о том, заселена ли его Конура, сколько стоит неновая пишущая машинка, с кем его посадят: с уголовниками или с политическими.

Около полудня он прилег на выстланном прошлогодней хвоей пригорке и проспал часа два. Ему снились родители, ожидающие его прихода, желтый двор Храма Иисусова гроба, захламленная комната Лира. Потом он с отвращением увидел грязную собаку римского нищего и, не желая появления самого старика, проснулся в страхе. Во рту у него было горько.

Сон разморил Вадима Соловьева. Он посидел немного, прислонившись спиной к розовому стволу сосны, а потом спустился с пригорка к озерцу с темной лесной водой, сполоснул лицо и попил. В кармане у него лежал пакет с бутербродами, но он не хотел есть этот безвкусный белый хлеб с ломтиками обезжиренной ветчины. В нескольких километрах от русской границы — уже не хотел. Усмехаясь, он развернул пакет и разложил бутерброды на пенке. На погранзаставе ему, наверно, дадут настоящий черный хлеб. Подойдет какой-нибудь Ванюха, скажет: "Ну, что, парень, жрать охота? На-ка, держи!"

Погранзастава представлялась Вадиму Соловьеву неопределенно: то ли крепость, то ли тюрьма. Скорей бы уже туда попасть, даже и под замок. Миновать погранзаставу тишком он не надеялся, прятаться и ползти не желал. Он собирался, выйдя к границе, идти открыто по открытым местам, пока его не заметят и не задержат пограничники. Что случится с ним дальше,

поведут его или повезут, сколько продержат на заставе, — об этом он не думал: главное было оказаться в России, среди своих.

Часа в четыре он вышел к асфальтированной дороге и, оглядевшись, перебежал ее. По другую сторону дороги, в сотне метров от нее, тянулась четкая, хоженная тропа, и Вадим Соловьев быстро по ней пошел. Сжатая высокими стволами, пятнисто высвеченными лучами нежаркого солнца, тропа петляла, и за каждым новым поворотом Вадим Соловьев ожидал увидеть просеку с пограничным столбом.

За поворотом висело над тропой облачко толкунцов, и Вадим, войдя в него с ходу, остановился. Толкунцы вились над его головой, жужжали и пели, и Вадим Соловьев слушал их пение внимательно и серьезно. Он не размахивал руками, чтобы их отогнать, и не двигался с места, чтобы оставить их позади и освободиться от них. Он только прищурился, чтобы они, кружась, не залетали ему в глаза... Вот, значит, он и пришел в Россию, хотя этот лес и эта тропа, кажется, называются еще Финляндией. Но толкунцы встретили его на пороге, они прилетели сюда из его детства и из той жизни, которая кончилась полтора года назад, и это не просто хороший знак, а подтверждение того, что все хорошо и правильно. Это не чудо, но это и не фокус. Бог знает, что это такое...

Теперь Вадим Соловьев шел тихонько, чтоб не потерять это облачко над своей головой. Он шел вместе с ним, в нем. И так он вышел к широкой вырубке, к голому полю, по ту сторону которого, за полосой кустарника, была Россия. Он зашагал быстрее, размахивая руками, не глядя под ноги, по теплой голой земле. Он дошел до середины поля,



